

Библиотека  
журнала ЦК ВЛКСМ



МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ

№ 1  
1982



Георгий  
Копьтин

На озере  
Леприндо





Георгию Копытину тридцать два года, он родился и живет в Чите. Служил в армии, работал в геологической партии, в комсомольской печати. Недавно он окончил Литературный институт имени А. М. Горького, на «отлично» защитив диплом. Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. В минувшем году Восточно-Сибирское издательство в Иркутске выпустило его первую книгу «Матушка-водица, светлая вода».

Молодого прозаика отличает глубокое знание жизненного материала, притом весьма разнообразного: это и сибирская деревня, и современный город, молодежные стройки и армейский быт, таежные глухомани и бурятские степные дацаны. Конфликты его произведений нешуточны и резки, психологически напряжены. Его пейзаж конкретен и плотен, он органично входит в событийный ряд.

Выразительна манера Г. Копытина: он умеет изобразить масштабы окружающего мира и в то же время неизменно внимателен к малейшим движениям души своих героев. Его творчество, безусловно, сродни прозе сибирских писателей, которые принесли в нашу литературу богатейшую галерею характеров, целую систему взаимоотношений и конфликтных ситуаций, разворачивающихся на впечатляющем и новом фоне. Талант Георгия Копытина замечен своей оригинальной природой, особенностью видения мира, живостью интонаций, точностью языка.

Этот талант созрел для того, чтобы стать знакомым широкому кругу читателей.

Александр РЕКЕМЧУК

---

---

Библиотека  
журнала ЦК ВЛКСМ



**МОЛОДАЯ** № 1  
**ГВАРДИЯ** 1982

---

---

Георгий  
КОПЫТИН

На озере  
Леприндо

*Рассказы*

Москва  
«Молодая гвардия»  
1982

**Художник В. МАЙОРОВА**

© Издательство «Молодая гвардия».  
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1982 г.  
№ 1(8)



## НА ОЗЕРЕ ЛЕПРИНДО

### 1

Про Анну Данилову в управлении Забайкальской гидрометслужбы вспомнили после шести лет ее работы на таежной станции Леприндо. Поразились ее безропотности, неприхотливости, редкой выносливости в работе, и тут же Анну вызвали в областной центр, чтобы предложить ей должность и оклад более высокие.

Огромного роста мужчина ощупывал, все равно как обтесывал, взглядом ее несколько не по-женски крепкую фигуру с сильными загорелыми руками, рассматривал смуглое лицо с влажными и большими, как у дикой ланки, глазами.

— Ах, бедолага, Диана ты северная! — подпуская ласку, рокотал кадровик. — Как же это мы тебя позабыли, позабросили?

Он ходил вокруг Анны, сокрушался и тут же показал ей приказ о назначении начальником районной гидрометслужбы. Только сейчас Анна поняла, что ей грозят крупные неприятности — разительные перемены в устоявшейся жизни. Она растерялась, представив

себе кабинет, людей, которые станут ее постоянным окружением, груды канцелярских бумаг, и сказала, в упор глядя на квадратный подбородок кадровика:

— Дайте сюда приказ.

Он пробормотал что-то неясное и протянул выбитый четким жирным шрифтом лист бумаги. Анна тут же порвала его и сказала, что ее вполне устраивает рядовая должность с рядовым окладом. Впрочем, недоговорила о том, что отвыкла от людей за эти годы, от шумного города, конфузилась, когда делали ей прическу, пугалась мужчин в белоснежных рубашках с твердыми воротничками и манжетами, скрепленными сияющими запонками, и привыкнуть к новой жизни, как ей теперь казалось, было труднее, чем отвыкнуть от прежней.

— Хорошо, — сказал кадровик, отпуская Анну, — ступай себе.

И она ушла, с благодарностью оглядываясь на него через плечо. Но, как только шаги Анны стихли в коридоре, кадровик нахмурился и сердито посмотрел на закрытую дверь...

Вскоре после возвращения Анны домой направили из области на озеро Леприндо молодого ихтиолога.

Плахов сначала ехал поездом, потом летел вертолетом. У него было сухое зоркое лицо, длинные руки, перевитые крупными жилами, и сам он тоже был длинен, нескладен и узок, как одноместная кабина в рабочей раздевалке.

За всю свою тридцатилетнюю жизнь Плахов по-настоящему влюблялся только один раз. Любовь эта казалась ему древней — не то в восьмом, не то в девятом классе — и к тому же до смешного наивной. Та, которую он любил, была красива и глуповата. Глупости за собой не замечала, но зато неприкрыто гордилась своей северной, пока еще набирающей цвет и силу красо-

той. Однажды Плахову пришла в голову жестокая мысль. Он остановил ее в коридоре и нетвердым, глухим голосом, глядя в темный угол, сказал: «Ты напрасно гордишься своей красотой. Она не твоя. Она принадлежит всем, — ну, все равно как цветы на городской площади. Красота дана природой, и здесь нет твоей заслуги. Тебе же принадлежит одна глупость...» — «А ты шустрик!» — сказала она в ответ и закатила ему пощечину. Однако Плахов продолжал ее тайно любить. И, как всякий тайно любящий, тяжело страдал. Дострадался он до того, что написал письмо в молодежную газету, где просил совета, как жить дальше. В письме он доверительно сообщал, что не ест, не пьет, с каждым днем худеет, как тут быть? Письмо предательски напечатали, после чего над ним стали потешаться все: друзья по классу и даже учителя. Плахова задразнили, и он был вынужден перевестись в другую школу...

Он легко возгорался и легко остывал, но этот случай в его тогдашней несовершеннолетней жизни все же наложил определенный и вполне отчетливый отпечаток страха перед публичной исповедью. Впоследствии, уже в институте, а потом и после него, Плахов никогда, даже в самые интимные минуты, не открывался в любви до конца. Сказывалась не то что застарелая обида, а скорее всего заглушенная скупость чувств. При знакомстве и даже разговоре с женщинами он был неловок, застенчив и часто без видимой на то причины краснел.

...После вертолета Плахов пересел в лодку и почти весь световой день плыл по реке, мутной, нездорово вспученной, гибло для моторов засоренной деревьями. Дальше пошли пойменные места с полусонными зарослями ивняка, с низко висящими над водою, пораженными сыростью корявыми сосновыми стволами.

Лодочник высадил Плахова в десятидомной Итаке и тут же, у пирса, развернувшись против течения,

скрылся за излучиной. Плахов оглянулся. Увидел здоровущего мужика, одетого в немыслимого цвета брезентовую робу, от которой остро дохнуло рыбой. Мужик с хищно прижатыми к грубо вылепленному черепу круглыми ушами, остервенело бросал в деревянный баркас сети, котомки, какие-то узлы, а рядом стоял хрупкий, по-мальчишески стройный, но уже весь седой человек с выдраным кованым запором в руках и уговаривал мужика, ласково называя его по имени Егорушкой, вернуться в сельский Совет. Он говорил с ним так, как разговаривает терпеливый отец с неразумным, но великовозрастным детиной.

— А под замок все равно не пойду, — рычал осерчавший Егорушка, на лице которого хранился прочный порок — сытая блудливость. — По горло насиделся. А когда эта милиция приедет — хрен ее знает...

Из разговора Плахов понял: в магазин завезли спирт. Егор не стал дожидаться, когда начнут его продавать, а ночью взломал дверь и утащил ящик с двадцатью бутылками. Продавщица наведальась к местной власти — председателю сельского Совета. Местная власть в лице этого по-армейски статного человека заточила под засов Егора до приезда милиции. Терпения у Егора хватило на неделю, а потом он вынес дверь на своих толстых плечах и теперь, поглядывая на председателя с недоброй ухмылкой, уезжал куда-то ловить рыбу. Он толкнул баркас в воду, мотор выдавил из глубины сизые выхлопы пузырей, и крупная тяжелая лодка свихнулась на стремнину.

— Сам себе срок крутит, — сказал председатель, обнаружив в голосе искреннее сочувствие.

В бледной еще темноте Плахов увидел его горестное лицо: председатель смотрел на реку, словно меряя езглядом погонные метры, которые отсекала своим винтом лодка неудачливого на дармовой фарт Егорушки...



— А вам куда? — живо спросил председатель Плахова.

— На Леприндо, — сказал с надеждой на попутную оказию ихтиолог. Он знал: до озера шестьдесят километров.

— Далековато, — заметил председатель. Потом обнадежил: — Сегодня-завтра оттуда женщина должна быть. Данилова Анна. Вот с ней и доберетесь до Леприндо.

Быстро темнело, и председатель крохотной улицей повел Плахова к себе домой. Строгая луна прорезала тугие перистые облака и дала наступившей ночи свет. Утром председатель растолкал Плахова. Тот долго и мучительно перебарывал сон.

— Вон она, Данилова, — произнес почему-то затенным шепотом председатель, показывая на окно и в то же время отодвигаясь, чтобы дать возможность Плахову посмотреть на улицу.

Плахов выглянул и тут же тихо засмеялся от неясного предчувствия радости, необыкновенности грядущих дней, отчего сердце сильно забилося и тонко кольнуло.

Сначала ихтиолог увидел сохатого — огромного быка, чья холка поднималась почти вровень с двухметровым забором. Сохатый топтался на месте, выдавливая в земле крупные, с шапку величиной, овальной формы следы. За громадной лосиной спиной возилась Анна Данилова. Она похлопывала ладонью по горбоносой морде сохатого, а другой рукой снимала с него седло. Расседлав сохатого, Анна прошла в сени.

— Здравствуйте, дядя Кирилл, — сказала она, переступив ладно обтоптаный порожек.

— Здравствуй, — ответил председатель.

Плахов из темного угла пристально наблюдал за рослой молодой женщиной. Увидев его, она осеклась, туго и густо покраснела, с неловкой торопливостью оглянулась на председателя.

— Вот человек приехал, — сказал председатель, — дорогу пытается на Леприндо. Пустить одного нельзя: плутать будет. Сидим, тебя ждем.

— Ихтиолог я, — проговорил Плахов, словно оправдываясь в своем неожиданном приезде.

— А я знаю, — просто сказала Данилова, — мне уже сообщили. Вот куплю продукты в магазине — и обратно. Только с транспортом плохо. Митька продукты повезет, а нам пешковать придется.

— Я привычный, — проговорил Плахов, уловив в ее голосе неловкость и в то же время диковатую настороженность.

Председатель многозначительно погмыкал, а потом сказал:

— С продуктами-то, боюсь, ничего не выйдет. Магазин закрыт. Егорушка постарался, спирт тяпнул у Зинки.

— Много? — спросила Анна.

— Да рублей на двести.

— А сам он где?

Председатель посмотрел долгим немигающим взглядом.

— В бегах он, Анна, в бегах, дуралей наш.

— Я схожу к Зинке на минуту, — вдруг с непонятной сухостью сказала Анна. Затем потянула дверь на себя, и сапоги ее дробно застучали по крыльцу.

— Уговаривать пошла, — заметил председатель. — Но, по-моему, зря это, без толку...

Плахов смотрел вслед Даниловой. Смотрел на медленную ленивую реку, по которой уплыл Егор, чью судьбу теперь будут решать Анна и неизвестная Плахову продавщица Зинка. Смотрел и думал, что, видимо, с приходом этой женщины на Итаке снова воцарится мир, взаимопонимание и покой до той поры, пока Егор по возвращении вновь дико и беспробудно не запьет.

Вернулась Анна, но уже не одна, а с продавщицей.

Стараясь придать испуганному лицу злое выражение, та скороговоркой частила:

— Это же на какую подлость ты меня толкаешь, Анка! Ведь заявлено уже, и сделать тут ничего нельзя. Слышь, дядя Кирилл, на что Данилова подбивает? Ты, говорит, деньги-то возьми, а прокурору отпиши, дескать, так и так — сама ящик в другое место поставила, забыла и человека зря охаяла...

Председатель слушал с усмешкой, изредка потряхивал серебристой головой, делал быстрые затяжки.

Продавщица уже оправилась от испуга, с развязной смелостью и не без интереса окинула по-кошачьи искристо-круглыми глазами Плахова, который не без улыбки наблюдал за этой сценой.

Председатель встал, прошел в красный угол, где стоял грубый, топорно сделанный комод, и стал рыться там в ящике, изредка выбрасывая из его нутра смятые трешки, рубли, пятерки. Анна сидела тут же на корточках и подбирала деньги.

— Всё, — сказала она, — больше не надо.

— А больше и нет... в нашей сберкассе, — отозвался председатель и жалостно поколотил ногтем по облупленной крышке комода.

— ...Здесь двести семьдесят. Двести за спирт, а семьдесят за неустойку.

Было слышно, как выправляется изломанная дуга Егорушкиной жизни: Анна совала в вырез Зинкиной кофты деньги, а та упиралась для приличия, но затем взяла-таки и, покрасневшись, с зажатым в пухлом кулаке хрустящим комком, пошла...

## 2

Лось Митька шагал крупно, содрогаясь в безмолвных сумерках толстыми узлами разлапистых рогов. По бокам у него свешивались мешки с хлебом, саха-

ром, консервами. Иногда он опускал горбатую морду и на ходу срывал кипрей.

— Митька хитрый. Днем не идет — гнус одолевает, — говорила Анна, похлопывая его по узкому крупу. — Он добрый, хороший, все понимает, говорить только не умеет...

Они вышли к Чарским пескам. Далеко в дюнах пышно цвела лиственница. По окоему пустыни виднелись россыпи фиолетовых цветов. Анна нарвала их в охапку и скормила Митьке, путая смуглые руки в его седеющей редкой бороде.

Плахов, пребывая в великом ожидании какой-то перемены на день завтрашний и все остальные дни, был все же скован мальчишеским смущением. Но, будто утверждая себя в этих исчезающих под ногами холмах, дальней, слегка озаренной звездным блеском дороге, скрывая счастливый озноб, стал расспрашивать Анну о ее жизни, о здешних местах.

— О, — чуть гортанно заговорила Анна, играя и явно передразнивая кого-то, — Чарские пески — это уникальное явление в природе. Среди вечной мерзлоты — и вдруг пустыня. — Засмеялась, трянула густыми, с антрацитовым глубинным отливом волосами. — Нас тут с Митькой фотографировали. А снимок был такой: за дюны падает солнце, слева в перспективе тайга, а среди барханов стоим мы с Митькой и едим шоколад. Он ужасный сладкоежка, этот Митька. Я его, можно сказать, и приманила шоколадом на станцию. Он долго не подходил, осторожничал все, потом пообвык. Из рук стал брать еду, спать у крыльца.

— Скажи, — неожиданно спросил Плахов, останавливаясь и выливая из сапога золотые струи песка, — ты давно знаешь Егора?

— Давно, — отозвалась Анна. — Увидела однажды, как он марочное вино менял у какого-то залетного спекулянта на минералку. Кажется, на «Боржоми».

— Это пижонство, — произнес сердито Плахов.

— Вовсе нет! — с живостью возразила Анна. — Он никогда и нигде не был дальше Итаки. И «Боржоми» видел впервые.

— Его могли действительно посадить? — спросил он, неизвестно отчего испытывая непонятное раздражение к этому любителю спирта и «Боржоми».

— Могли, — тихо сказала Анна...

Плахов и Анна шли по золотой пустыне, среди гор, зыбких холмов песка, и с ночной высоты светили им крупные летние звезды, — казалось, при желании их можно было доставать рукой. Невольно он задумался о том, что сделали Анна и председатель для Егорушки. Плахов не был наделен какой-то особенностью видеть свой сокровенный смысл во всем происходящем с ним и с людьми. Но сейчас ему вдруг захотелось принять участие в спасении Егора. Наверное, это не что иное, как инерция, состояние столь же древнее, сколь живучее, когда добро, сотворенное на глазах у человека, рождает стремление к ответному добру или неловкость, что ты на это добро не способен. Хорошо было у него на сердце, и хотелось в братском объятии до боли стиснуть весь мир...

Дом на метеостанции был разделен толстой бревенчатой перегородкой. У Анны вечно пиццала морзянка, а в комнате Плахова поселился неистребимый дух свежей рыбы. После контрольных забросов в озеро синие и зеленые капроновые сети растягивались от дерева к дереву — сушились, чистились.

— Водяной все сети позапутал и тиной ячейки забил, — смеялся Плахов, когда Анна присаживалась рядом, замедленным взглядом следила, как он взвешивал, измерял огромных, с полулунными пятнами по бокам тайменей, нежных хариусов, крытых крупной серебристой чешуей-кольчугой медлительных сигов. Держа за луч спинного плавника какую-нибудь рыби-



ну, Плахов бормотал о непонятных для Анны морфоподвиде, расе...

Однажды Анна сказала, что километрах в десяти, в Базальтовом водоразделе, есть озеро, где на спиннинг она поймала вот такую рыбу — до полуметра развела руками. У рыбы, говорила она, высокое длинное тело с белыми пятнами по бокам и короткая голова.

У Плахова затряслись руки.

— Покажи, — попросил он, — мне это очень надо.

— Хорошо, — сказала Анна, — поедем.

Они погрузили на Митьку палатку, спальники, сети и ушли к хребту Становому. По дороге Плахов, сталкиваясь взглядом с Анной, отчего-то нервно зяб. Митька шел сзади, с треском сокрушал ногами заглохшие на корню тонкоствольные пихты, тянулся иногда толстыми губами к щеке Анны.

Поднятые исполинскими силами земли, рваными старческими складками уходили за безбрежный горизонт гряды угрюмых гор. Вершинный ветер содрал наросший местами на диких камнях лишайственный мох, и груды этих тысячелетних камней зарылись в сизые бугры облаков.

Они миновали каменную державу и спустились в долину. Здесь, освобождаясь от туч, в выпуклой линзе озера горела заря. Чум якута, крытый белыми оленьими шкурами, рыхло, как нерастаявший сугроб, стоял в зарослях ольхи.

Хозяин чума — древний якут с побуревшим лицом — сам был как живой осколок дикарских скал. Казалось, что появился он вместе с ними и так было всегда: и эти запотелые моренные камни, и синий свод над ними, и лес, просекаемый косыми лучами, и этот старик с разоренными вконец деснами, философски посазывавший свою трубочку, следивший цепкими глазками, как Плахов снимает с Митькиной спины груз.

— Хороший коняшка, — пошарив в вековых мыс-

лях, сказал якут и по-свойски ткнул Митьку чубуком в волосатый бок.

— Ничего, — согласилась Анна, — хороший.

— А рыбка здесь есть? — спросил Плахов.

— Маленько есть, — осторожно ответил якут, и его раскосое лицо стало хитрым...

Потом Плахов сделал плот, плавал на нем по озеру, бросал в воду сети, а Анна ставила у чума палатку.

Возвратился он затемно. На ветру гудели косыми бурными крыльями ночные птицы. В глубоких сумерках воровато подкрадывался холод.

Анна была уже в спальнике, и глаза ее, словно глубокие вечерние окна, подсвеченные изнутри, возникали в темноте, как откровенное ожидание. В палатку вползал едкий дым костра, доносился беспокойный топот оленей по краю озера, тихо и как-то нелепо, по-коровьи взмыкивал и вздыхал старый лось Митька. Плахов слушал эти тяжкие вздохи, и ему было отчего-то смешно.

— Митька бабник, — сказал он, кусая рукав энцефалитки. — Он у якута перепортит все стадо.

Анна поднялась, села в спальнике.

— Дай закурить, — сказала она. — Пусть Митька гуляет, а мне дай закурить.

«Как ей не надоело быть одной? — подумал некстати Плахов, нашарив в темноте пачку сигарет. — Ведь это ужасно — прожить так шесть лет... Подумать только — шесть лет!..»

— Ты, наверное, удивляешься, что я одна все время? — спросила Анна, и в руках у нее дрогнул сигаретный огонек.

«Удивляюсь», — хотелось сказать Плахову, но он промолчал.

— Люди живут, без толку мечутся с места на место, — снова заговорила Анна, — а я не люблю суету. Люблю мирное одиночество. Иногда делаю для себя праздник и пью шампанское, которым одаривает меня Зинка.

— Одна? — ревниво спросил Плахов.

Анна ответила не сразу. Было слышно, как за палаткой в густой траве путался ветер.

— Нет, — отозвалась она, — не одна. С Егорушкой. Пораженный ее откровенностью, Плахов не хотел продолжения разговора. Анна шумно затаилась, искристый комок на конце сигареты вспыхнул, высветив и дав возможность Плахову разглядеть, как хороши ее глаза.

— Что же ты хочешь? — снова, но с запоздалым уже отчаянием в голосе заговорила Анна. — Ведь я просто женщина. Всего-навсего слабая женщина, — повторила она. И заплакала тихо, хотя слез ее не было видно.

В темноте Плахов словно сердцем ощущал, как от бывшего позора горько содрогаются ее плечи. Ему вдруг захотелось, чтобы Анна превратилась в крохотную девочку, которую можно взять в твердые мужские ладони и спрятать у себя на груди. От него разом и как-то вдруг отошла прежняя, такая незначительная, с минутой величиной, обида, которая не могла устоять против этого исповедального откровения...

Лишь только утро отделилось от ночи, они пошли по тяжелой росной траве к берегу, который распирало от обилия белочашечных кувшинок.

Анна легко спрыгнула на плот, и Плахов, толкнувшись шестом о берег, направил грубо сколоченные между собою бревна через толстые лакированные листья кувшинок к чистому зеркалу воды. Неловким взмахом он сбил синюю звезду ириса, перебив зеленую трость стебля.

Сеть утонула. Плахов, чувствуя упругую тяжесть, долго выбирал ее. И как только показалась первая, с крутыми пятнистыми боками рыба, он понял, что не ошибся в своем предположении: это был красномясый даватчан... Он выбрал всю сеть, густо, как наплывшими поленьями, по крупным ячейм насаженную рыбой.

Затем сел возле этой трепещущей золотистой груды и, довольно поглядывая на Анну, закурил.

— Ты даже не представляешь, что это такое, — говорил Плахов, блистая глазами в радостном возбуждении. — Это же валюта, золотые рубли. Когда мы шли, — после глубокой торопливо-нервной затяжки снова заговорил он, — я видел озера, много озер. И там тоже должна быть красная рыба.

Подумав, чем можно возместить такое великодушие Анны, он обнял ее и расцеловал.

Не зря же, говорил сам себе с уважением Плахов, получил он в приложение к своему диплому бродячую профессию ихтиолога. И если через пяток-другой годков в сырых болотах или холодных озерах обзаведется он ревматизмом, то и тогда скажет: не напрасно выбрал себе дело...

Анна сидела молча, смотрела на живое громоздкое существо, и было видно ей, как солнце жадно сушит литую бронзу рыбьей кожи, морщит ее, старит.

— Не дай бог, узнают браконьеры, — оборвала она радость Плахова. — Разведают географию, вырубят под площадку сухостой и в месяц всю рыбу неводом да толком прикончат.

Анна знала, что говорила: еще до ее приезда на Леприндо туда не раз зарывались браконьеры. Неводили, бросали тол. Вывозили бочками гольца, даватчана.

Но все же радовалась она тому, что закрепила в памяти эти озера и что не зря привела сюда Плахова...

На берегу стоял якут, раскуривал свою трубочку из наборного плексигласа. Он смотрел на палатку, на Плахова с Анной, на рыбу, и в его маленьких скучных глазках появился едкий лед. Якут развернулся на коsenzких ножках, ушел в чум, стучал там деревянной колотушкой по звучному медному тазу, тонко и жалобно вскрикивал, словно на ощупь пробовал свой голос, — наверное, прощался с Анной и Плаховым и одновременно тосковал по людям...

Осень выжигала лес, и ночи приходили длинные, стылые, сжимая холодом базальтовые горы. Иногда Плахову начинало казаться, что он здесь не четыре месяца, а уже много-много лет и что, наверное, ему отсюда никогда не выбраться. Он поднимался со стула от железной печки и долго расхаживал по половицам, проклиная свое начальство, которое бестрепетно засунуло его в эту стиснутую хребтами дыру.

Из города в синем конверте пришло письмо от сестры. Оно напомнило о другой жизни — о каменных домах, трамваях, улицах, выложенных лобастой брусчаткой. Но эти воспоминания, похожие на далекие смутные призраки, раздражали его, и он старался избавиться от них.

Истасканный по горам порыв ветра, выхлест крупного дождя, бесприютный стук голых, ободранных ветвей в окна — все это было созвучно его настроению. Ночами Плахова мучила бессонница, боль от раздвоенных мыслей о своем неопределенном назначении.

В одну из таких ночей, иззябнув от глухой тоски, Плахов пришел к Анне. Он отвел оберегавшие ее руки, и она безропотно приняла его.

— А ведь я ждала тебя, — говорила она. — С первого, быть может, дня. И чего только не передумала за это время! Увидела тебя — загадала: будешь ли меня любить?.. Ты ходишь рядом, каждый день тебя вижу, а вот того не знаешь, что я все время разговариваю с тобой. Со мной происходит удивительное. Я уже привыкла думать о тебе каждую минуту, разговаривать с тобой. Но ты даже не слышишь. И потому мне бывает и досадно, и обидно до слез...

На заре, стараясь не глядеть на сонное ее лицо, хранившее улыбку, холодно поцеловав ее, он вышел за дверь...

Потом стал ходить к Анне часто, почти каждый ве-



чер. Но слова любви и благодарности произносил он редко. При лунном свете иногда принимался разглядывать ее, но все было, как ему казалось, давно изучено и не вызывало того первого, трепетного восторга. Сейчас ее губы казались ему толстыми и вялыми, а глаза совсем невыразительными...

Скоро Плахов стал тяготиться не только Анной, но и своей работой. На зеленоватую остуженную воду ложились последние листья. По-осеннему невнятный шорох камыша нагонял тоску, а в глубоких прозрачных лесах уже трубили изюбры.

Плахов теперь все реже и реже ставил сети. В густеющей воде подолгу, не исчезая, держались веселые следы. Он возвращался, пряча красные мокрые руки за пазухой, и зябко ежился у печки. С Анной по-прежнему разговаривал мало. Даже ее стеснительность начинала раздражать его.

В иные ночи Плахов зверем метался по комнате, и его острая тень облетала стены. В такие минуты он особенно ненавидел себя за слабость характера, проклинал свою жизнь на Леприндо и божился, что с первой же оказией сбежит отсюда.

За окном были черные, гнетущие горы, а за перегородкой сидела испуганная Анна и чутко прислушивалась к шагам Плахова.

К утру обычно приступ хандры проходил, и Плахов засыпал с желтым, утомленным лицом...

В сентябре выпал первый снег, и земля с благодарностью приняла его. Вместе со снегом появился якут с Базальтовых озер, держа наперевес, как палку, дробовое ружье. Отхаркивая застарелый туберкулез, он долго и бестолково объяснял, что медведь подрал у него молодых оленей.

Анна ушла в кладовку, гремела там кованой цепью, выдирая из темного нутра пристройки огромный медвежий капкан, брошенный, наверное, еще теми, кто рубил здесь избу под метеостанцию.

— Вот, — сказала она, обращаясь больше к Плахову, чем к якуту, — уж до чего лютей этот капкан. Цапнет зверюгу за ногу — и никуда он не денется...

К чуму оленевода они ушли задолго до того часа, когда падавший мокрыми хлопьями снег с приходом темноты превратился в водянистую незрячую стену. Плахов не знал, сколько на счету медведя разоренных оленьих стойбищ, забитых животных, и поэтому шел почти безразлично, без особого чувства мести. Однако стволы его ружья были заряжены пулями.

В загоне якут подвел их к плотному, в ржавых пятнах крови брезенту и сдернул его. Разделанные туши оленей с вывалившимися внутренностями лежали беспорядочной грудой.

— Смотри, — показала Анна Плахову, — так может сделать только медведь. Он, наверное, мстил ему. — Она коротко взглянула на якута и спросила: — Ты стрелял в него?

Старик кивнул головой.

— Дробью стрелял, — сказал он, — не было крупных зарядов.

— Конечно, — снова заговорила Анна, — он мстил тебе.

По кривым глубоким полосам было видно: медведь хватал оленей лапой за что придется и вытряхивал их из шкуры. Плахов еще раз взглянул на ободранные спины и ушел, прихватив топор, вырубать лиственничную колоду. Он нашел подходящее дерево неподалеку от ручья и долго стучал там топором по смолистому комлю. А потом еще дольше, но уже втроем они тащили обрубок к сваленным оленьим тушам.

С трудом Плахов разжал стальные, немного заржавленные челюсти капкана и, раскопав середину оленьей груды, поставил туда западню. Все эти приготовления разбудили в нем охотничий азарт. Он нервно и торопливо крепил на обтюканной железом колодине сизую кованую цепь.

Снег под ногами расползся, и с неба, изгибаясь волнами, хлынул ледяной дождь. В чум они забрались уже изрядно вымокшие. Анна пыталась поймать взгляд Плахова, но тот отворачивался, и глаза его выжидающе впивались в откинутый полог чума, где черное пространство нещадно полоскал сентябрьский ливень...

Под утро дождь прекратился. На стволах мелькали капли — холодные, крупные, но далеко еще не последние в осеннем лесу, с которого уже спал гибнущий лист. И в этом затишье вдруг раздался постепенно заполняющий всю долину испуганный медвежий рев. Он вырос до чудовищных размеров и лопнул, угаснув под низким небосводом.

Выбрались из чума и заметили: у лося Митьки в диком страхе вращались глаза, а с толстых губ тянулась слюна.

...К медведю Плахов подошел вплотную, почти на расстояние вытянутой руки, однако ружья с плеча не снял. Он не демонстрировал свою храбрость перед Анной и якутом — просто хотел посмотреть медведя вблизи, еще живого, потому что через минуту на оленьи туши упадет другой, косматый, огромный, как гора. Плахов выискал на приплюснутой башке маленькие злобные глазки и хотел заглянуть в них. Хотел распознать страх зверя. Однако страха у того не было. Была неистребимая ненависть и боль: задняя лапа всей ступней угодила в капкан. Медведь вывернул ступню из сустава, и теперь была хорошо видна надорванная кожа с вытянутыми из нее синими сухожилиями.

Цепь, готовясь к разрыву, натужно зазвенела, в лицо ударило зловонием медвежьего смрада, а хищные когти зверя жадно царапнули воздух. Внезапный страх сдавил непокрытую голову Плахова, и он, судорожно сглатывая быстро набегавшую во рту омедненную слюну, потащил обезволенными пальцами льнувший к но-

ге ружейный приклад. Только сейчас он заметил, как медленно распадается у самой колоды кованое звено цепи...

Откуда-то сбоку вывернулся якут, подпрыгнул к Плахову и коротким сильным взмахом послал остро отточенную пальму под левую, поднятую для удара медвежью лапу. Кровь хлынула черным, свитым в тугую спираль потоком.

Медведь бурой глыбой накренился вперед, тупой конец пальмы уперся в землю, а лезвие, с хрустом скользя по лопатке, выперло на горбатой спине.

Плахов сдернул наконец ружье и, расплачиваясь за тот страх, который он тщетно искал в пойманном звере, но который пришлось миг назад испытать самому, разрядил ружье в уже мертвую звериную голову. Затем повернулся бледным лицом к Анне, и та увидела безликость в его глазах. Он отошел к березе, и там его стошнило...

Отрезав себя от Анны толстой перегородкой, отделив от себя людей громадной толщей сумерек и высокими хребтами, Плахов страдал, переживая свой позор. Чтобы заглушить его, он пил крупными глотками обжигающий горло спирт. Было сыро, нетоплено, пахло плесенью, и он, обжимая ладонями плечи, быстро ходил по комнате.

Постучалась Анна. Вошла. Стараясь выплеснуть то, что терзало его, мучило и угнетало, он злобно заговорил:

— Трусов в Древней Греции выставляли в женской одежде на городской площади на всеобщее обозрение... Наверное, ты пришла мне сказать об этом. Может быть, я испугался, но я мучаюсь сейчас не трусостью своей, — солгал он и вдруг почувствовал, насколько нелеп и смешон в этом своем детском, никому не нужном оправдании, проговоренном прыгающим голосом. И по-

нял, что Анна пришла вовсе не для того, чтобы уличать его в позорном малодушии, — это было сразу видно по смиренной позе, в которой угадывалось извечное стремление одиноких женщин быть с теми, кто слаб, кто нуждается в утешении.

Неожиданно Плахов поднял кулак над головой и опустил его тут же с грохотом на стол:

— Я не слабый, Анна, нет! Но я не могу здесь жить. Все это, — он махнул дрогнувшей рукой куда-то в окно, во мрак, — не мое. И даже не только не мое, но и не по мне. Потому что и работа эта, и добровольное здесь мое заточение — это все равно что одежда с чужого плеча. Просто я забрался не в те сани и заехал не в тот двор...

Он говорил громко, с отвращением к себе, и голос его был беспомощен, словно просил защиты, участия.

— Я к тебе с Егорушкой приставал, — ронял он трудные для Анны слова, — а у самого ведь тоже были женщины... Так-то вот, Анна, — закончил он бесвязную свою тираду и опустился на стул.

Анна окунула пальцы в его светлые пушистые волосы, тогда как ей самой хотелось упасть на колени и плакать долго, навзрыд, чтобы вернулось облегчение.

— Это мусор, и тебе надо выговориться, — шептала Анна, как тяжело больному человеку.

Плахов точно караулил эти слова, чтобы в лихорадочном накале снова нести тяжелый вздор.

— В жизни я ничего не открыл, не изобрел. Но я не гордец и никогда не был о себе высокого мнения. Не думал, что избран кем-то на земле...

— Избран, родной, избран, — успокаивала Анна. — Раз родился, значит, избран.

Внезапно Плахов, насторожившись худым лицом, поднялся.

— Куда ты?

Он не ответил, и Анна почувствовала: в эту минуту Плахов был слеп и видел только себя. Он вытолкнул



громоздкую дверь в темноту, а потом и сам скрылся в крошечной осенней ночи.

Анна знала, что он никуда не уйдет, но в какой-то миг к ней пришло чудовищное по своей несправедливости понимание: Плахов ей не принадлежит, и не в ее возможностях, не в ее силах это изменить...

Вернулся Плахов под утро, усталый и хмурый. Где-то незряче лазил по горам, и сапоги его были в красноватой глине. Упал на кровать и тут же заснул.

Подсевши на край, Анна придвинулась к нему, стала гладить напряженную, скрюченную под одеялом спину. И свободно, больше не сдерживая себя ни в мыслях, ни в чувствах, заговорила, роняя в зачинавшийся день, как мольбу, выстраданные слова:

— Милый ты мой. Как же правы все истины о любви! Вот свела меня судьба с тобой, и я уже без тебя ничто. Вот уедешь ты, я потеряю тебя навсегда и уже не буду знать, что мне делать дальше... Раньше, когда была на станции одна, часто мучилась от непонимания: зачем я живу? Другие живут ради детей. Дядя Кирилл все время корил меня: выходи замуж и на Итаке оставайся. Если, говорит, детей нет, то и жить не к чему. Кто-то живет ради работы, иные потому, что их любят и без них кому-то даже плохо. У меня есть только работа, а теперь вот появился ты. Только не подумай, что я навязываюсь. Насчет твоей любви у меня совершенно трезвое представление, только не пойми это как упрек, ты ни в чем не виноват. Вот думаю я все эти думы, и так черно на душе вдруг станет, такая темень... А потом — вот уж до чего верно сказано — как свет в окошке: любовь моя к тебе — вот и смысл, вот и то, ради чего я живу, что у меня есть еще... И уж другому начинаешь думать и воспринимать все. Ведь то, что есть у меня, не у каждого найдется, правда? Может, кто-то и хотел бы любить, да не может, не

умеет, не дано. А я люблю. Я вспоминаю первые наши дни, когда у тебя не было еще этой вселенской хандры и мы с тобой везде ходили вместе — и к Базальтовым озерам, и на охоту, везде ты был такой простой и незлой. Как было хорошо! И неужели этого больше никогда не будет?..

Плахов не слышал. Он спал. А когда проснулся, то в окно был виден в ледяном сиянии утренний Кодар. И на другие горы, как на сокрушенные бастионы, вторглись снега, и по кремнисто-белым вершинам катилось лиловое солнце.

— Анна, — резко позвал Плахов, — где ты?

Она подошла доверчиво, покорная и безобидная. Плахов заметил, что лицо ее за ночь осунулось, появились синие затени, увеличив и без того огромные глаза. Она была в тонком сарафане, лямки его облетало легкое кружево, а под сарафаном плотно к телу прилегал свитер. Было совершенно очевидно, что она совсем не умеет одеваться. Этот сарафан больше походил на ночную сорочку, и в иное время Плахов не преминул бы съязвить по этому поводу. Но сейчас он понимал, что это переодевание затеяно только ради него.

Анна неловко стояла возле Плахова, и чувствовалось, что эти легкие одежды для нее тяжелее железных. Глядя на ее исплаканное за ночь лицо, он вдруг проникся невыносимой жалостью к Анне и также невыносимым стыдом за себя.

— Прости меня, — проговорил он, обнимая ее и выходя с ней на улицу. — Я вчера был не в себе и хамил, как последняя сволочь.

Она грустно оправдала его:

— Я знала, что ты не такой.

— Теперь я постараюсь на все смотреть иными глазами, — наивно пообещал он.

— Смотри, — серьезно сказала Анна.

И он в самом деле оглянулся. С этой высоты лес с облепленными мокрым снегом стволами показался

бесприютным. Плыл горизонт, и по заснеженным горам снизу доверху ходили бесплотно-розовые воздушные волны. Крылась извечно тонкая предзимняя тоска в порыжевших лесных прогалах, в бурых, заброшенных зверьем и птицей плоскогорьях.

— Кодар дымится, — заметила Анна, и Плахов, словно повинувшись ее словам, обратил взгляд к тонкому зазубренному хребту.

Кодар курился, сгоняя с ледникового панциря раннюю поземку. Теперь он будет дымиться до следующей весны, до первого солнечного луча, когда корни деревьев оживут в горах и разломают теснившие их камни.

— Я обещаю тебе, — произнес Плахов, — что сдеру с себя этот пресный слой жизни. И все у нас будет по-другому.

Он был весь в противоречиях, но сейчас искренне верил в то, что говорил.

— Скоро зима, — проговорил он, — и нам надо готовиться к ней.

Анна неприметно улыбнулась.

— Ты знаешь, — сказала она, — а у нас Митька исчез. Любовь звериная началась.

...Ближе к обеду на площадку метеостанции минутно присел вертолет. Его винт рвал жухлые травы и развеивал волосы Анны.

— Я слетаю с ними, — сказал Плахов. — Быть может, привезу дикого мяса.

Анна не стала отговаривать его, хотя смутная тревога одолевала ее. Ей казалось, что вместе с Плаховым снова исчезнут только что обретенные надежда и радость...

#### 4

Брачная осень разогнала кровь стареющего лося. Шел он крупным махом иногда останавливаясь, вбивая клиновидные уши в прозрачный воздух — прослу-

шивал лесное пространство. Он миновал зыбуны, проломился сквозь хрупкий осинник, и длинные ноги вынесли его к мгlistой, строго берегущей снежные заметы долине. Здесь сохатый остановился: снизу, вспарывая дневную тишину, доносился нарастающий рев изюбра.

Верхняя губа Митьки вздернулась, и он потянулся к тонкому стволу осины, обкусал ветки, на которых бились, заледенев, багряные листья. Снизу снова, но уже гораздо ближе раздался повторный рев изюбра.

У сохатого злобно поднялся короткий загрибок, он перестал жевать, а глаза, высверкнув грозную, почти волчью млечность, уже отыскивали в распадке врага: раздражал не сам зверь, который — он это знал — был вполонину меньше, а его рев. Лось тоже ответил, но каким смешным было это взмыкиванье по сравнению с яростным и отчетливым предупреждением изюбра!

Митька выискал фиолетовыми глазами рогача, успев заметить, как за спиной у него толкнутся три комолые ланки. Они-то и разгорячили его, и лось длинным снарядом ринулся, сокрушая подлесок, на вызов.

Изюбр был молод, без приобретенных бойцовских навыков, но кровь кипела в нем, мутила разум, и поэтому он безрассудно шел, нагнув острую голову с серповидными длинными отростками к земле. Он был влюблен, пылок, и слепое звериное бешенство кинуло его прямо на плоские лосиные рога. Митька почувствовал все же крепость удара, дрогнул всем телом, но это было только мгновением, потому что сам изюбр сломался, столкнувшись с мощной тяжелой головой.

Сохатый шагнул через него, пробежал, остывая, еще немного, оглянулся. Ланки осторожно потянулись за ним, и с этой минуты для него перестал существовать молодой изюбр с поломанной шеей.

Эти ланки своей статью смутно напоминали ему тех диких, недоверчивых оленух, которых он видел, ко-

гда ходил с Хозяйкой и длинным нескладным человеком на озеро.

Лось остановился. Ланки испуганно глазели на сохатого — от его большого и сильного тела исходили незнакомые запахи, вовсе непохожие на те дразнящие, которые они жадно втягивали влажными ноздрями еще несколько минут назад. Лось не прогнал их, хотя своим сознанием понимал, что эти легкие ланки не годятся для продолжения его рода — ему нужна была лосиха, крупная, молодая, сильная. И сохатый, неся высоко свою голову, побежал по долине. За ним, временами обнюхивая его огромные следы, устремились ланки.

Сохатый вывел их в открытую марь. Тут самки остановились, поедая ягель, и лось тоже опустил тяжелую морду в мягкий пористый мох, вытягивая оттуда влагу. Но вскоре звери оторвали головы от земли: их чуткий слух уловил перемену — в угасающем дне содрогались глубокие толщи сумерек. Митька узнал этот раскалывающий воздух звук. С ним были связаны у него приятные воспоминания: люди, смех, хлеб, прибытие Хозяйки, чьи руки всегда полны вкусных вещей.

Он промычал, и ланки, успокоенные его голосом, стали послушно поедать ягель.

Вертолет вентилировал воздух уже около часа. У поселка Итаки Плахов увидел людей. Крошечные с этой высоты, они суетливо посверкивали топориками — возводили над рекой желтый лиственничный сруб. Дальше вертолет поплыл над марью, и гряда изрытых пропастями гор отодвинулась вместе с метеостанцией в глубь восточного горизонта. Люди терпеливо смотрели вниз, но, кроме черных проломов северных озер с четко обозначенными тонкими берегами, ничего не было видно.



Плахов закрыл глаза и подумал о ненормальности своего поведения: сам ввязался в полет, который наверняка закончится хаотичной трескотней выстрелов, ужасным предсмертным бегством зверей по зыбкой мари. Потом услышал, как возбужденно завозился радист, извлекая самозарядный карабин. И стало на минуту совсем нехорошо: вертолет показался уродливо грязным, как запущенное, нечистоплотное помещение.

Плахова качнуло, и он коротко глянул вниз: к ним стремительно приближалось небольшое стадо — три изюбриные матки и огромный буро-дымчатый сохатый. Широко расставив изящные ноги, ланки сначала пристально всматривались в грохочущий синий небосвод, а потом снова принялись за корм.

Вертолет шел на снижение, и вогнутая земля становилась плоской. Радист открыл дверцу: лопасти рождали смерчи, и бешеные потоки воздуха гнули желтые травы. Плахов выпрямил свое трепетно-напряженное тело, выглянул через плечо радиста. Снова он увидел тесно сбившихся маток и быка, чью блестящую шерсть ломали вихри.

Радист опустил ноги в проем, устойчиво уперся боком в борт, вытолкнул ствол карабина наружу и медленно, удобно выбирая цель за целью, стал методично расстреливать стадо...

С последним выстрелом Плахов подобрал теплую гильзу и вздрагивающей рукой провел по волосам, вымучивая на лице ускользящую стыдливую улыбку. Он еще раз, крадучись, бросил косой взгляд через крутую спину радиста в загадочную глубину и увидел там расстрелянных в упор комолых маток и быка-гиганта.

Вертолет мягко опустился, радист с Плаховым прыгнули на землю... Ран почти не было видно. Были аккуратные дырочки с монету величиной, а сами пули вонзились глубоко в тело, застряв где-то на излете. У ланок оледенели глаза, у одной из них Плахов заме-

тил на губах комковатый недожеванный ягель. Лось — старый бык — глубоко взрыхлил копытами землю, но в его застывшей позе, в боли вывороченных глаз крылась неистребимая устремленность вперед.

— Многовато навалил, — сердито сказал командир экипажа радисту.

— Сгоряча это, — отрывисто дыша, ответил радист. Потом перевел круглые, белесо-рахитичные глаза на Плахова, спросил: — Ну, как охота?

— Страшно, — признался Плахов и поежился.

— Ерунда, — засмеялся радист, — если бы не мы, так все равно бы волки их покончили.

Во рту у Плахова сделалось сухо. Он оглядел безнадежно далекое небо и почувствовал смертельную усталость, вызванную чудовищной бойней, к которой он был не готов и которая смяла не только его мысли, но и душу. До его сознания едва доходил разговор экипажа. Но все же Плахов уловил, что от него требуется: экипаж улетит на пару часов куда-то к геологам, кого-то там возьмут, а он, Плахов, должен разделать пока туши. Мясо может себе на станцию забрать, а вот камус оставит им.

— Камус... — недовольно повторил Плахов. — Какой еще камус?

— А вот какой, — сказал радист, выдернув из-за пояса нож, и быстрым круговым движением обвел лезвием ногу ланки, тут же отвернув надрез и выбелив под ним тонкую кость.

Он попытался вложить Плахову в руки нож, но тот сказал, переживая мучительное недоумение, рожденное этим почти на грани истерии состоянием, что у него есть свой...

Вертолет ушел к прозрачным облакам. Сделалось холодно, звериные глаза равнодушно смотрели в стынувшее небо. Плахов взглянул на старого быка и, ненавидя себя, не прощая, как самого страшного грешника,

поднял сначала переднюю ногу сохатого, потом приставил нож к задней.

...Плахов не узнал в старом быке лося Митьку: пуля ударила в сочленение толстых рогов и только оглушила сохатого. Когда же коснулся лезвием задней ноги, сделав надрез, лосиные мышцы сократились от тягучей острой боли, и ошеломленный Плахов увидел, как старый бык начал медленно подниматься, громадой вырастать над ним. Плахов вздрогнул, заглянув в расширившиеся глаза сохатого, в них не было укора в человеческой несправедливости, однако все равно смотреть было страшно.

Только сейчас он разглядел вытертую спину лося — след седла. Протянул было руку, чтобы дотронуться до едва различимой меты, но Митька уже поднялся и пошел, угловато припадая на оголенную кость. Его уход показался Плахову призрачным видением, и он долго смотрел в далекий хмурый лес, куда, потеряв размеренный шаг, шел Митька...

В этот короткий, но такой долгий для Плахова день его раздумья, когда он, не дождавшись вертолетчиков, брел по болотистым зыбунам, коснулись самих основ жизни: зачем он живет? Не зря ли? В чем смысл такой жизни?

Он шел на станцию. Шел, как на край света, туда, где только один во всем мире человек способен протянуть ему руку. И с каждым шагом, вспоминая вывороченные из орбит глаза сохатого, он с отчаянием, стараясь беспомощными словами заглушить свою совесть, повторял: «Плачь, Митька, плачь! Легче станет...»

На станцию пришел он утром. У дома, припадая на обе обмотанные белым бинтом ноги, ходил старый сохатый. Плахов перевел взгляд на окно Анны и отшатнулся: на него смотрели глаза, чужие, холодные, а под ними стыли быстрые слезы...

## ПОПУТЧИЦА

У Танхоя обрушилась на скальную терраса, и железнодорожное полотно ушло в холодный Байкал. Сизая плотная вода лизала свежие разломы камней, прибывала к берегу пропитанные креозотом разодранные шпалы.

Авария согнала оранжевых путейцев, и они уже какой день с виртуозностью акробатов лазили по синим гранитным осколам, расчищая место для нового полотна.

Погода стояла не совсем еще по-осеннему злая, но воздух у этих берегов давно уже пронизывали ледяные струи, которые приходили сюда из-за иглистых пиков хребта Хамар-Дабан. Обостренное свежестью утро явственно обрисовывало холодный золотистый блеск изящных сосен и небольшую станцию с высокими ступенчатými трубами над горбатым драньем выветренных крыш. Улица и дальняя изгородь за ней уходили к тяжелой воде, которая колыхала у пирса полуразваленные баркасы и легкие дюралевые казанки.

В серебряном сиянии — от набежавшего ветреного порыва — засветилась трепетными бликами вода, и глазам в этом расцветченном муаровом дне, когда во всю мощь брызнуло солнце, стало больно.

...Громыхая пустыми молочными бидонами на шаткой телеге, парень гнал низкорослую монгольскую лошадь по улице.

— Дойку, наверное, проспал, — сказала заботливо девушка, по виду почти подросток, и эта забота в ее голосе показалась стоявшему у окна Буракову простой и естественной. Он взглянул пристальней на нее и в неярком свете вагонного коридора увидел, что она стройна, но ростом невелика, с едва выведенной под зеленой шерстяной кофтой грудью. Девушка светилась, как светофор: желтая юбка, красные, подобранные неумелой рукой, но дорогие туфли. И это яркое, вызывающее го-

рение красок странным образом ассоциировалось в представлении Буракова с далекой, захолустной деревней.

— ...Вот уж теперь ему достанется! — снова сказала девушка, имея в виду парня на телеге с бидонами.

— Простить должны, — отозвался Бураков негромко, с тайным удовольствием разглядывая выпуклую линию чистого смугло-опалового лба, тонкий и вздрагивающий нос, удлиненные, с черным живым блеском, утренние глаза.

— Его-то простят, — проговорила она, — пошумят на ферме девчонки да перестанут. Знаю, как это бывает, сама все лето после школы работала. А вот кто мне простит за опоздание? Ведь послезавтра в институте первый экзамен.

— Это хуже, — посочувствовал Бураков и, подумав, добавил: — Пойдем-ка на выход к берегу. Может, пробьемся на паром.

Она согласно кивнула небольшой, аккуратно увитой плотной косою головой.

Бураков выбрался первым и, стоя внизу на острых камнях, осторожно принял ее на руки.

— Вы старый, а еще сильный, — сказала она поощрительно.

Его не задела эта детская откровенность, и он улыбнулся, потому что сорок для семнадцати или восемнадцати — это действительно много.

— Народу полно — неужели все поместимся? — беспокойно спросила она Буракова, когда подошли к порушенной старостью пристани, у которой, воспламеняя воду ажурными нефтяными пятнами, стоял паром.

Он помолчал, взял ее за крепкую маленькую ладонь и, косо выставив плечо, стал пробиваться сквозь толпу.

На верхней палубе стоял рулевой, должно быть, старший команды, и по-разному ругал пассажиров: самым безобидным у него было слово «бараны».

Их стиснуло, развернуло, прижав друг к другу, но тут же, как только они оказались на палубе, толпа распалась.

— Теперь, может, и успею на экзамены, — проговорила она, довольная, и долгим взглядом проследила, как молодой матрос, легкий на ногу, в толстой зимней тельняшке и фуражке с крабом, втаскивает на палубу трап.

Однако старинный бронзовый колокол, отлитый, должно быть, на Петровских заводах, отпел начало пути лишь под вечер. Паром содрогнулся от живого ритма машины и, круто описав дугу, пошел вперед, дробя стальным носом ледяные валы. Некогда крепкое судно дохаживало, наверное, последнюю свою навигацию. Все было на нем, начиная от рубки и кончая палубой, тронута глубоким временем. Молодым был только матрос, который сбегал к своим машинам по спиральной лестнице, и Бураков заметил, как его попутчица украдкой продолжает следить за ним.

В исподволь наступившей смолистой лаве сумерек, по густой от холода байкальской воде паром гнал впереди себя первую зеленоватую звезду — неверное небесное отражение. Казалось, он сноровисто уходил от всего, что было на сухих, разломанных на скалах берегах и на ограниченных горизонтом гор тяжелых залежах вод. Уже далеко в стороне осталось осеннее цветение лесов, заглохли коровье взмыкивание, лай собак, и потерялся запах домашнего дыма.

Девушка продрогла. Она достала из чемодана поролоновую куртку, зябко укуталась в нее. Согреваясь, по-птичьи подпрыгнула на тонких ножках — легкая, занятная фигурка, воздушная невесомость на громадной палубе парома. Шквал ветра распуржил воду за бортом и колоколом надул ее юбку. У рубки стоял матрос и смотрел, как ветер треплет ее фигурку.

Бураков без снисходительно-мудрой небрежности раздумывал о душевном состоянии своей молоденькой

попутчицы, которое, как ему казалось, было вполне понятным. Впереди — новая, заманчивая, совершенно взрослая жизнь. И все, что теперь ее окружало, было исполнено значительного смысла именно потому, что было началом новой жизни. Сейчас она находилась во власти головокружения — вынужденная остановка в пути, Байкал, внимание ловкого матроса...

Бураков отметил, что матрос был зоркоглаз и походил на молодого крепкого пойнтера. Пружиня сильные ноги, он прошел от рубки, замедлив свой шаг перед Бураковым и дрогнувшей на ветру девушкой. С беспечной дерзостью, не давая удивиться бесцеремонности своего обращения, спросил:

— Сколько полос на тельняшке?

— Не считала, — сказала девушка, посмотрев на Буракова.

— А ты посчитай, — проговорил матрос, распахнув бушлат.

Она в самом деле провела пальцем по синим полосам и, принимая эту глупую игру-шутку, нерешительно произнесла:

— Кажется, двадцать три.

— Две, глупышка, — важно сказал парень. — Всего-навсего две: синяя и белая...

Он непонятно раздражал Буракова, особенно его низкий, грудной голос с опасным оттенком доверительности, и Бураков с неприязнью осмотрел его цыгански жесткое лицо с узким, выходящим далеко вперед лбом.

— Вы ее отец? — спросил матрос.

— Нет, — ответила вместо Буракова девушка, — мы попутчики.

— Я вижу, попутчица совсем замерзла, — с иронией сказал парень.

— Замерзла, еще как замерзла, — почти обрадовалась девушка и кокетливо притопнула красными туфельками по рифленой палубе.



Матрос покосился на Буракова. В его взгляде тот уловил скрытую, едва выдаваемую враждебность.

— Здесь холодно, — сказал парень, — а внизу, в каюте, тепло.

Остужая лица, нудно сеялась водяная пыль, и матрос намекнул еще раз:

— Ну, так что будем делать?

Она коснулась руки Буракова, словно прося разрешения:

— Я только на одну минуту. Чуть обогреюсь и обратно. Хорошо?

Бураков пожал плечами. Девушка приняла это как знак согласия и, оставив его возле своих вещей, пошла за матросом. Она осторожно, с оглядкой подходила к лестнице, и в тревожных ее глазах было любопытство.

Паром знобило. Сизые гривы туч ходили по низкому небу. Ключковатая пена, сорванная с высоких гребней волн, залетала на палубу. Бураков нагнулся через борт, словно стараясь разглядеть в грозной глубине какую-то истину, прикрытую огромной матовой толщей воды. Но там были мрак и холод. А в тусклой вечерней мути — как плавучая тоска — шел не привеченный пока берегом паром.

Бураков смотрел, как кипит, обтекая винты, вода за бортом, скручивается в тугие узловатые струи, чтобы через минуту вновь стать прежней, сплошной и невозмутимой гладью. Он думал о том, что в метафоре «быстротечное время» заложен смысл глубокий и точный. Так и жизнь человеческая: отбурлит и растворится в сплошной массе бытия, и попробуй углядеть тогда в этой глади отдельные нити струй... Что же касается жизни вообще, то она, как полагал Бураков, — сплошное ожидание.

В юности ожидание, беззаботное от уверенности в счастье, которым — каждого в свой срок — одарит

**жизнь. Кого-то, случается, жизнь и вправду одаривает рано и щедро, а кто-то ждет этого подарка до самой старости, чувствуя себя обойденным и несправедливо обиженным. Кому-то слишком рано открывается будничность жизни, уходит беззаботность, и тогда до боли зрячей становится душа, приходит понимание того, что счастье — не дар, а делается оно руками каждого и каждым на свой лад. Но вместе с тем приходит и сожаление, и тонкая, с тихой горечью, грусть о безвозвратно утраченном юношеском ожидании твоего срока, твоего счастья...**

**Бураков оторвался от борта и обежал взглядом темный провал лестницы, где исчезли матрос и девушка. Ее глаза, тревожно-любопытный оборот головы безотчетно будоражили его мысли, и Бураков, стараясь придать себе вид полного безразличия, направился к сумрачной штольне лестницы. Там, внизу, грохотали, стучали, ревели дизеля. Он боком протиснулся вдоль широких, в масляных потеках станин, настойчиво отыскивая глазами дверь каюты, и нашел эту общипанную, расслоенную фанерную дверь в носовом отсеке.**

**В каюте словно побывал смерч: стулья были опрокинуты, давно брошенные пустые бутылки из толстого зеленого стекла катались по полу, раздавливая сваленные на пол окурки.**

**Над безмятежным девичьим лбом и счастливыми глазами ложным, вызывающим золотом горел краб, врезанный в черное сукно околыша. Смеясь, она маленькими руками поправляла фуражку, сдвигая ее на затылок, беспокоя тугую толстую плеть косы.**

**Матрос истязал гитару, пел про баргузин. Иногда он отпускал гриф и обнимал девушку, притискивая ее к сильному молодому плечу. Она жмурилась, стучала крепеньким кулачком по его бугристой спине, делала вид, что это ей не нравится, но тяжелой, крупной руки со своего легкого плеча не снимала.**

Бураков виновато улыбнулся, хотел уйти, но быстрый, почти повелительный окрик заставил его остановиться.

— Нехорошо, папаша, шпионить! — зло сказал матрос, и его жесткое лицо стало еще жестче, грубее, выгнав на косых скулах крутые катыши желваков.

— Не говори так, — остановила его девушка, и он оттаял под этим взглядом, скинул напряжение.

Она с легкой улыбкой посмотрела на Буракова, и тот застыдился этой улыбки, потому что видел в ней укор себе, даже своей, быть может, назойливости.

— Тебя долго не было, — все же нашелся Бураков, — я и пошел узнать, в чем дело.

— Не бойся, — развязно захохотал матрос и, взяв гитару, приблизился к Буракову, злорадно шепнув ему на ухо: — Моряк девчонку не обидит...

Бураков оттолкнул от себя его раскаленное, возбужденное лицо. Ему очень хотелось привести в соприкосновение спутанную голову парня с его расстроенной гитарой.

— Там, наверху, такой свежий ветер, — зачем-то напомнил он, — а в моем рюкзаке есть очень теплый свитер. Ты бы в нем не замерзла.

— Я приду, — услышал он в ответ и догадался, что девушка не уверена в себе и не совсем знает, как ей быть. — Но мне хочется послушать песни.

Бураков вдруг ощутил сильное беспокойство, почти сопряженное с неясным чувством тревоги, и спросил, прогоняя из ее глаз наивную веру в чудеса.

— Неужели ты во все это веришь? — Взгляд, минуя матроса, с неприязнью обежал ободранные стены, словно эта каюта стала его неизбежным врагом.

— Вы зря беспокоитесь за меня, — обронила она, посмотрев в сторону.

— Вот это верно, — сказал матрос и торопливыми пальцами пробежал по струнам...

Бураков оставил этот бесполезный разговор и поднялся на палубу.

Ветер свежел. Осень дышала черным господством воды и темными глыбами гор. На берегу уже пророчески горел маяк, а его лучи разошлись в провалах разодранных туч венценосным сиянием.

Бураков чувствовал себя так, словно эта поездка на потрепанном пароме для него давно завершилась и он остался один, без людей, с ощущением потери. И лишь та каюта, затопленная клубами слоистого сизого дыма, блеском глаз, гитарным боем и хриплой песней — картина полной действительности, — смутно, но настойчиво тревожила его, как и та девчонка, принимающая на слово и на веру сказки о любви...

Паром уже подошел к Листвянке. И оказалось, что Бураков не один — зашевелились люди на палубе.

Было видно, как о бетонные дамбы с грохотом дробились высокие, расцвеченные огнями пристани волны. Выстуживая узкое горло бухты, ходил по сутулым берегам ветер. Бураков спрятал лицо от холодной сечки в поднятый воротник. Он запретил себе думать о матросе, о своей случайной попутчице — какое ему дело до крохотной любви под толстой палубой парома! И, твердо ставя ноги, сошел по трапу, под которым шумно вихрилась вода, на землю, как бы углубился от ярких фонарей, от нервно пульсирующего силуэта старого судна в вечернюю густую тьму.

Она же сходила последней, суетливо ступая по валким, взлетающим доскам трапа. И не оборачивалась назад — туда, где ее не так давно обнимали большие, в поту и масле руки. Теперь она была похожа на испуганную птицу. Бураков подумал, что взгляд его, наверное, до конца убьет ее, и потому, прощая этого маленького, растерянного человека, поспешил отвернуться.

## У МАТЕРИ

Они вышли к небольшой реке. Мать, обутая в ичиги, остановилась на берегу и посмотрела на сына. Первый лед уже окантовал глазурью песчаные отмели, остуженные, поблескивали кусты краснотала. Но мелководная река была пока свободна, и только на середине шла шуга.

— Еще не встала, — сказала мать и беспомощно обернулась. — Как же это мы переберемся?

— Переберемся, — сказал сын и, нагнувшись, стал снимать сапоги. Он закатал штанины по колено и вошел, обламывая хрупкий по краям ледок, в воду. Мать обхватила его шею руками, подогнув под себя ноги.

Река обожгла его поначалу, но потом ступни свыклись с холодом, и он осторожно ощупал пальцами каменистое дно. Плывшие льдины несколько раз ударили его по икрам, словно проверяя крепость ног. Постепенно распутывая темное дно, благополучно вышел на берег, и мать разжала руки.

Он намотал портянки и нырнул ногами в теплые голенища сапог. Собаки уже перебрались и стояли, отряхиваясь и сея вокруг себя алмазные брызги.

Недавний жидкий снег, разлагаясь под солнечным теплом, менял свой цвет — из белого становился серым, а из серого превращался в желтый. Свежо и подоброму глядел соседний лес; выстроившись в пышный ряд, стояли припорошенные сосны. По открытому горизонту летела стая ворон, матово поблескивая сизыми крыльями, требовательно кричала. Чертя хмельные круги, бегали по снегу собаки.

«Сколько раз это пережито!» — подумал сын. Казалось, чей-то взгляд сопровождал его мысли, и он понял, что это был взгляд матери. Пришло ощущение нескончаемости дороги, которую ему предстоит преодолеть.

Он взглянул на мать. И лицо ее — лицо степнячки с быстрыми живыми глазами и косыми смуглыми скулами — ждало, что скажет сын. Однако словами нельзя было объяснить всего, что владело сейчас его душой. Он просто положил свою руку ей на плечо, и они зашагали, приминая торчавшее из-под снега сухобылье, к лесу.

Словно окликнула его в этот день дальняя юность, от имени которой яснее обозначилось его настроение. И нить памяти быстро распуталась, показав ему дни, как в волшебном калейдоскопе, чередующиеся один за другим. Ему было хорошо оттого, что он видел сейчас и чувствовал, оттого, что мир вокруг него прост и значителен, как был простым и значительным в тот день, когда десятилетний мальчишка пошел в первый раз с матерью по Витимскому тракту на охоту...

Тогда, вооруженный громадным охотничьим ножом, он был счастлив, и счастье его казалось таким же чистым, каким был снег в то памятное утро. Он заметил позднюю утреннюю звезду и шагал на ее свет упруго и сильно, ощущая за спиной крылья. Потом плясал костер у обочины дороги, и пламя его билось, согревая не только их двоих, но и воздух. Через тракт к распадку мелькнула огромная тень, и он понял, кто это был, но не смел сказать первым. Не потому, что этого нельзя было делать, а потому, что испугался. А мать подняла легкую «тозовочку», у которой ствол толщиной с карандаш, и выстрелила в том направлении, куда проломился сквозь кусты косялапый. Медведь, увязнув в глубоком снегу, рыкнул, тяжелые пласты снега обрушились на него с ветвей отдыхающих деревьев. И он, совсем еще мальчик, взглянул осторожно из-за плеча матери туда, где ходил смутным косматым силуэтом громадный зверь. Присутствие более крупного, чем когда-либо он видел, существа породило в нем безотчетный страх.

Он не заметил, как мать передернула затвор и выстрелила еще раз. Медведь завозился в снегу и рыкнул громче прежнего. Он не побежал, а оставался на месте. Он вытоптал это место как площадку, и его глаза злобно сузились.

— Возьми в руки нож, — сказала мать и первая побежала к медведю.

Он тоже, забыв страх, захваченный всепоглощающим восторгом, ринулся следом за ней. Они выскочили на высокий борт трассы и остановились. Мать долго целила в голову зверя, но после выстрела тот не грянулся оземь, а, медленно повернувшись, побежал, то и дело проваливаясь по грудь в снег, к хмурому лесу...

Мать была рослая и сильная женщина, а еще, наверное, безрассудная. Ведь не каждая же из матерей отправила бы маленького сына с ножом на медведя. И не каждая мытарилась бы целыми днями по тайге с ружьем, ночевала у костра и била зверя.

А как она испугалась, когда он, будучи ползунком-карапузом, в среднеазиатском кишлаке пытался, играя, прикрыть ладошкой скорпиона. Скорпион, поднявши хвост, водил нетерпеливо жалом, готовясь вонзить его в глупца. Но мать опередила, отвела руку от губительной беды и стремительно взбежала с ним на высокое крыльцо...

Он помнил каждый свой день так, будто все было вчера, а не много лет назад. Особенно запомнилось, как впервые увидел печальной обычно веселую мать.

Тогда она жила в палатке геологов и приручила молодого беркута. По вечерам она громко, по-мужски, свистела, и на этот сигнал прилетал беркут. Тяжелая птица усаживалась на ее плечо и железным клювом перебирала волосы на голове. Мать ласково принимала эти ухаживания, и беркут с признательностью



клекотал. Потом взмахивал крыльями, усаживался где-нибудь на голом дереве и застывал там.

Но однажды старый чабан, завидев сидевшего на палатке беркута, перебил ему лапу из винтовки. Потом оправдывался, не знал, дескать, что птица прирученная. А беркут улетел, оставив отстреленную лапу как укор человеческой жестокости. И мать долго тосковала, и глаза ее жадно шарили по небу, отыскивая там большую птицу, которая не нашла приюта на земле, не успела обжить своего гнезда. Сын не давал ей грустить, но она глядела на него со строгой печалью, словно этим взглядом старалась смягчить глупость заезжего чабана.

Мать не была капризна в том смысле, как некоторые женщины. Она могла смеяться, когда надо было плакать, и, наоборот, могла хмуриться, когда впору бы веселиться. В ее лице всегда пробрезживала какая-то дальняя мечта, которая заставляла забывать о земной доли и уноситься в будущее. Ведь рядом с ней был десятилетний сын с отзывчивым, добрым сердцем. Он всегда старался шагать впереди матери, прокладывая в тумане дорогу, чтобы стряхнуть с ветвей сосен и с трав всю сырость и морось...

Потом не раз и не два снилась ему кроткая улыбка матери, а вместе с ней пробуждались такие воспоминания, от которых становилось и грустно и светло. Он шагал к ней за тридцать километров по глухой, едва заметной дороге, потому что в каникулы не мог усидеть дома.

В ее возрасте человек уже достигает желаемого. У него есть собственный угол, а вот у нее не было. И сколько помнит себя сын, она всегда жила в партионных временках. Мать была рядовым геофизиком, знаменитых открытий на ее счету не было, зато исходила в молодости громадные просторы Восточной и Западной Сибири. Она жила в постоянном движении, не замечая, как проходят дни, недели, месяцы. Если

надо было, без устали ходила в маршруты и, не сомкнув глаз, просиживала всю ночь в камералке. Работая, она всегда испытывала боязнь погрузиться в холод бездействия.

Такой она была и в двадцать, и в тридцать, и в сорок лет. Но в пятьдесят вышла на пенсию и с тех пор жила в деревне, где когда-то стояла партия и где остались лишь брошенные дома, один из которых и заняла мать. Жила она здесь и постоянно находила себе дело, а с ним — смысл жизни.

Она не могла справиться с годами, ее раскачала житейская волна, и со временем ружье было забыто. Но зато появилось немудреное хозяйство, где ходьба за индюками да курами заменила ей ходьбу по лесу. Лишь в своих воспоминаниях видел сын свою мать у застывающих озер, где в зеркалах стекленеющих льдов отражалась ее непоседливая молодость. Да еще напоминала о прошлом по-девичьи легкая ее походка.

Она уже не ставит ногу в стремя — ветром отнесло прожитое. Однако еще бодра, и ее не так-то просто вмуровать в оседлый быт. Она лишь старела годами, а среди своих шестидесятилетних сверстниц смотрелась как странный путник с нелегкой, но здоровой ношей за спиной. И сейчас сын взглянул на нее так, как будто увидел ее молодой не в сизо-фиолетовой дали, а совсем рядом — можно протянуть руку и коснуться.

Прошлое уже положило свои тени под ее глаза, однако самих глаз — начала мечты — не тронуло. Правда, тоска заполняла глаза всякий раз, когда они видели след какого-нибудь костра, безмолвные поля, зыбкий рассвет раннего утра. Но сквозь нее проглядывало безмерное счастье — оттого, что и она жгла когда-то свои костры. И сейчас она все еще на подъеме, потому что не все круги пройдены и не все постигнуто, а взята лишь самая малость. Ее живая душа в ненастную погоду как бы приникала к стеклу и

жадно смотрела на просторы земли, на людей, с которыми прочно сжилась.

Сын часто наезжал в деревню и при встрече заглядывал в глаза матери: что изменилось с их последней встречи? Огонек материнской заботы в них всегда убеждал, что ничего не изменилось, что она по-прежнему любит его и что здесь всегда можно отдохнуть, избавиться от хандры, вернуть душе лад...

Такой она была и сейчас, когда вышли к лесу. Сын еще не вступил в сосновый бор, но уже принял, как принимают наследство, его зеленую роскошь. Каждый раз, входя в лес, он точно заново рождался. Звонкие удары дятла навязчиво дробили воздух. Ястреб-тетеревятник скульптурно сидел на сосне. Чаща смыкалась за ними, а впереди был просвет, который вновь выводил их в сумрачную глушь.

Нарушив тишину, подала голос собака. Сначала несмело, потом все более входя в азарт и наконец совсем уже суматошно взлаивая: давала знать, что надо спешить на зов.

— Это колонок, наверное, — догадалась мать. И оказалась права в своем предположении.

Рыжий зверек метался по сосне и смотрел на них, багряноглазый, встревоженный.

Лицо матери повернулось к сыну — с улыбкой, с блеском еще молодых и зорких глаз, словно кто-то обозначил в них торжественность момента.

— Ну вот, — произнесла она, — не зря собаки лаяли...

Хлопнул выстрел, такой короткий по сравнению с долгой жизнью, и колонок упал на землю, прямо к ногам сына. Собака бросилась было трепать зверька, но мать отогнала ее, и та коротко и страдальчески взлаивала, находясь еще во власти охотничьего азарта.

Дальше пошли по распадку. Сын невольно поддавался чувству ощущения собственной хрупкости перед вековым бором и намеренно выбрался из чащи. Он чутко внимал тихой и потаенной беседе леса, от которого почти отвык в городской суете, и был благодарен матери, чьей воле беспрекословно подчинился, направившись сюда...

Уже стемнело, и засверкали звезды. От перепада температуры стали леденеть руки.

— Тут есть зимовье, — проговорила мать, — зайдем обогреемся.

Раздвинули кусты и вышли на прогалину. Угольно-черный силуэт зимовья одним боком приткнулся к сосне. Из трубы валил дым.

— Кто-то нас опередил, — сказала мать.

Сын толкнул дверь, и загремело ведро. Он чуть не упал, зацепившись ногой о порог.

За столом сидел пожилой человек и молча смотрел на них. Слабый свет керосиновой лампы смутно обрисовывал его грубой лепки лицо. Цигейковая шапка была надвинута на брови. Ватник едва помещался на широких плечах. Но все же истинные размеры человека были скрадены сумеречным фоном.

Мать всмотрелась и узнала его.

— Дмитрий, — проговорила она, — не ожидала тебя здесь увидеть.

— А где же мне быть? — сказал хрипло Дмитрий. Сын еще не знал его, но зато знала мать. В этом зимовье, окруженном холодом, они оказались своими.

Сели за стол, и Дмитрий поставил на него черный, закопченный котелок с чаем.

— Довольны охотой? — спросил он, разливая по кружкам кипяток. — А я тут петли ставлю. — И Дмитрий равнодушно ткнул пальцем в угол, где высилась груда заячьих тушек. — Нынче полно зайца. По десять штук зараз снимаю.

В дверь поскреблась собака.

— Совсем как человек, — сказал Дмитрий. — Не может одна без хозяина.

Он поднялся и впустил свою собаку.

— Ну, устраивайтесь, а я пока займусь вот этим, — он показал рукой на зайцев.

Мать легла на нары, а сын расположился у печки, отворив дверцу и глядя на млеющий огонь.

— Сынок... — окликнула мать.

— Что?

— Ты доволен, что приехал ко мне?

Он помолчал, вздохнул, а потом ответил:

— Да.

За темным окном жизнь леса сообщала ему свою близость и отклик. Он думал о тайне природы, к которой приобщила его мать. Отчего та заманивает людей через горы и быстрые реки? Почему она, как утренняя звезда, заставляет забывать все невзгоды и неудачи? Нет, никакие объяснения не в силах дать ответ на это вечное «почему».

Сидя у печки и глядя на огонь, он обдумывал целую жизнь, даже две — свою и матери. И останавливал уходящие мгновения так, как откладывают все равно драгоценные камни, чтобы можно было по мере надобности извлечь их и посмотреть — какие потемнели, а какие остались по-прежнему светлы. Он даже окликнул мать. Но та не отозвалась, она уже спала.

## АНТОНОВНА

Антоновна усохла в поздние лета — годов так восьмидесяти. Одряхлела, приугасла, в один месяц убавилась в весе, а в росте особенно. Но была крепка еще старуха. И последующий десяток начала с уверенностью, что дотянет его до конца, а там, если на то богу угодно, и век столетний, какой вроде бы по

природе положен человеку, подберет до последнего годочка.

Может, и жила бы себе Антоновна мало-помалу, но вот стали дочь Нюра и сожитель ее, бухгалтер автобазы Иван Кириллович Тихомиров подмечать за ней разного рода странности. То она вскочит в поздний час и подолгу плутает по комнатам, внушая безотчетную тоску своим хождением Ивану Кирилловичу — человеку со слабыми нервами. А то вдруг приткнется к окну и все манит, манит кого-то ладошкой из лесу.

— Наверное, смерть зовет, — догадывался впечатлительный Иван Кириллович.

А Нюра, подслушав в лунную ночь, кого это кличет мать, обомлела. Звала она Степана и Валентину — сына то есть да дочь, которые жили вдали от этих мест, в Красноярском крае.

...Иной раз даже днем, когда Антоновна блуждала по редкому сосняку, казалось ей, что ходит-бродит она за огородами Успенки: так здешние места напоминали ей красноярские. Те же хлипкие деревца, но чем выше в гору, тем они больше да в обхвате потолще. Та же зеленая бугристая даль за лесом, с дорогой, по обочинам которой росли, переплетаясь, волнистые гривы высокой травы. И так же, как в родных местах, гремел в узкой лощине горный ключ Громотуха.

Порой у Антоновны разыгрывалось не на шутку воображение, всплывали обрывки воспоминаний. Тогда прошлое мешалось с настоящим, мнимое — с подлинным. И когда Антоновна видела какого-нибудь парнишку, собирающего ягоды или грибы, то принимала мальчика за одного из своих енисейских внуков. Окликала его, и малец костенел от неожиданности. Сбоку взглядывал на старуху, пугаясь ее побитых сильной сединой встрепанных волос, по-утиному широкого носа, нависшего над просевшим за беззубые

десна ртом. Затем срывался с места и кричал уже из лесной глубины, расплачиваясь за минутный страх, тонко и по-шкодливому трусливо:

— Старая карга, дай пирога!

Орал и дразнился до тех пор, пока не появлялась Нюра и не уводила мать домой. Там она раздраженно ходила по комнате, с грохотом передвигая стулья, зло выговаривала:

— Ну что ты бродишь по лесу? Что ты страх на детей нагоняешь? Ведь нет здесь Степана и Валентины. И детей их нет!

Говорила она долго, поднимая иногда голос до визгливого крика, вовсе не стесняясь того обстоятельства, что за тонкой перегородкой, отделявшей одну квартиру от другой, жил Дёгтев — человек молодой и одинокий. От этого крика Дёгтев испытывал крайнюю неловкость: в подобных случаях он всегда выходил на крыльцо и стоял там, свирепо уничтожая одну сигарету за другой. Своих соседей молодой лесничий не любил. В особенности, когда Нюра и Иван Кириллович с бесстыдным усердием громко и отчетливо, но как бы промеж себя, говорили, что кое-кто зажился на белом свете, прихватив чужой век. Вон, мол, молодые мрут — их жалко. Дёгтев, слыша все это через стенку, понимал, кого они имеют в виду: не так давно Сашка Погодаев с автобазы прострелил на охоте себе ногу, изошел кровью и, не доехав до поселковой больницы, умер.

Но зато не понимала таких прозрачных намеков Антоновна, простодушно поясняя, что когда ей исполнится девяносто — осталось совсем немного, — возьмут ее доктора под особый медицинский контроль как долгожителя.

После таких слов особенно был не в духе Иван Кириллович: не то в Абхазии, не то в Осетии, где-то там на Кавказе одна бабка прожила сто лет, так что и Антоновна может такой же оказаться...



В своих посланиях брату и сестре Нюра была непозволительно откровенна, расписывая, а иногда преувеличивая чудачества матери. Когда же она потребовала, чтобы забрали от нее мать, то Валентина со Степаном, испугавшись, что им придется возиться со старухой, быть может, полусумасшедшей, стали надежно отмалчиваться...

Днем барак, где жила Антоновна, пустел. А вечером, возвращаясь из лесхозовской конторы домой, Дёгтев часто встречал старую женщину в сосновом бору с детской лопаткой в руках. Почти все лето она ковыряла землю, выкапывая корешки, промывала в Громотухе, сушила их, сдавала в аптеку. И Дёгтев каждый раз удивлялся: как она с плохим зрением могла находить бордовый бадан с кожистыми листьями или же отыскивать в каменных россыпях крупные клубни золотого корня?

— А по запаху, голубь, по запаху, — поясняла Антоновна.

Из-за этих корней вышел однажды громогласный скандал. Иван Кириллович, разузнав про целебные свойства золотого корня, взял без ведома Антоновны первый попавшийся корешок, сделал настойку, выпил и через минуту выбежал на двор. Весь выходной пошел насмарку, полдня он бегал в гору, выставляя из мягких зарослей стланика сосредоточенно-выпуклый математический лоб.

Несколько дней кряду потом ругался Иван Кириллович, обзывая старуху то отравительницей, то ведьмой. Но травку целебную все же Антоновна не бросила щипать. Держась на тонких стеблях ног, в сморщенных дыроватых чулках, она ходила по солнцепеку, выдергивала отцветающие уже растения и подносила к лицу. Нюхала. Какое негодное — отбрасывала, лекарственные опускала в небольшой холщовый мешок...

Раз в неделю она наведывалась на почту. В посел-

ка уже знали о странностях древней старухи и смотрели на нее по-разному: кто с состраданием, кто с мимолетным удивлением, а кто и просто как на блаженную. И когда она тащилась с одного края на другой, загребая пыль обрезанными катанками, ее всегда сопровождал эскорт молчаливо сопящих пацанов. Старуха, которую они часто встречали в лесу, казалась им всамделишной Бабой Ягой и вызывала у них неизменное любопытство.

На почте она доставала вылинявший платок, раскладывала его с угла на угол и на вырученные за корни деньги просила бойких связисток составить телеграмму примерно одного и того же содержания: все ли живы, все ли здоровы?

Ей выписывали квитанцию, и Антоновна, теперь уже в обратном направлении, брела пыльной улицей, а за ней, держась на расстоянии, шли настороженные мальчишки, бежали собаки...

На телеграммы никто не отзывался, но она не роптала, никому не жаловалась и только однажды занесла Дёгтеву распечатанный конверт. Письмо было адресовано не ей, а дочери Нюре. Дёгтев, смущенно поправляя пальцем очки, хотел сказать об этом, но Антоновна глядела на белый конверт с искренней верой, с полным убеждением, что письмо предназначено именно ей.

— А ты читай, читай, родимый, — говорила она, заметив нерешительность Дёгтева. — Может, что и про меня вычитаешь.

Письмо и впрямь касалось Антоновны. Оно было полно упреков и восклицательных знаков, Валентина со Степаном жаловались сестре: мать доконала их телеграммами, можно бы и остепенить старуху. Ну а насчет того, чтобы ее забрать — тут пока нет такой возможности. Они здесь по-всякому уже прикидывали, как с ней поступить. Может, в дом престарелых определить? Но, пожалуй, с этим ничего не выйдет.

Потому что у нее две дочери да сын, а затей они такое дело — позору не оберешься. Значит, надо думать сообща...

Дёгтев на отлете держал письмо, собираясь с духом, чтобы прочитать его вслух, может быть, возмутиться. Но, взглянув на старуху, понял, что делать это нельзя.

— Тут тебе сплошные приветы. Наказы потеплее одеваться, беречь себя. А еще пишут, что, возможно, кто-нибудь приедет.

— Ерик, наверное, — дрогнула подбородком Антоновна, — старший сын Валентины. Он в геологах у нее...

Приехал вовсе не геолог Ерик, а шестнадцатилетний сын Ивана Кирилловича от первого брака — Юрка. Он учился в городе Иркутске, в техникуме. Мачеху Нюру признавал плохо. Смотрел на нее равнодушно-холодными, выпуклыми глазами. Старуху он вообще не замечал. Но однажды пришел перевозбужденный и спросил отца: кого это бабка аукает в лесу? Иван Кириллович счел нужным рассказать сыну все как есть, однако предупредил его быть поосторожней со старухой. Потому что она, дескать, вроде бы психически расстроена. Юрка поподробнее расспросил о странностях бабки, а все выведав, заблистал озорно глазами, решив проверить, насколько это верно.

В тепляке, где поселили с его приездом бабку, он заметил ружье, стоявшее без дела. Разыскал патрон, всыпал в него дробь, заткнул гильзу резиновой пробкой, а вернувшись в тепляк, зарядил ружье и взвел курок.

— Вот, — сказал Юрка, — для самообороны. Как увидишь, кто в окно лезет, так и пуляй в него...

К ночи поднялся ветер. Он ворошил листву на деревьях, сминал ветхую толь на крыше тепляка.

За окном мелькали лохматые угрюмые тени. Прохватывало холодом, и Антоновна зябко кутала худые ноги шерстяным одеялом. Потом чье-то огромное страшное лицо показалось в синем проеме окна, и тягучий ужас, оборвав судорожные попытки вскочить, сковал Антоновну. Но она все же нащупала рукой ружье. Выволокла его с грохотом из угла, направила ствол в окно и, все еще плохо сознавая, что делает, спустила курок.

Выстрел разбудил Дёгтева. Он слышал возбужденные голоса, матерные выкрики Ивана Кирилловича, истеричные всхлипы цепных собак. Дёгтев махнул через заплот прямо к тепляку. Увидел разбитую стеклинку, трясущегося не то от ночной свежести, не то от страха Юрку, который, оправдываясь, говорил, что хотел просто попугать старуху.

— Попуга-ать, — зло передразнил его Иван Кириллович. — Сам-то ни жив ни мертв, пужальщик!

Струсила и Нюра. Она пыталась заглянуть в лицо матери, ошалело долдоня одну и ту же фразу:

— Это что же такое... господи? Это что же такое?..

Следующим днем, быстро и крупно шагая к лесхозовской конторе, Дёгтев решил про себя: надо обязательно переговорить с соседями, в первую очередь с Юркой — слишком далеко зашли его шутки.

Событие минувшей ночи взбудоражило лесничего. Он расстроенно думал, что, наверное, не сможет как следует работать. Однако в низкой и светлой, с частыми окнами конторе ждали Дёгтева неразобранные дела, и он, окопавшись за грудой бумаг, забыл о ночном происшествии.

А после обеда ему надо было ехать на десятый участок, к пади Рушмалей — намечать новые деланки, годные для лесоповала. В эту дорогу Дёгтев пустился без особой охоты: не успел доругаться по те-

лефону с директором леспромхоза из-за брошенных на вырубках «нестроевых» хлыстов, и теперь они, разлагаясь, будут поражать молодняк...

Вернулся лесничий в самую слякоть. Ноги в сапогах занемели. Хотелось горячего чая и беззаботного отдыха. Перед баракom, в ограде тепляка лесничий заметил Антоновну. Согнувшись в три погибели, та шарила ладошками по земле, собирая, должно быть, щепки на растопку. Заслышав шаги, старуха, переламываясь в поясице, медленно распрямилась. Приподняла неуверенно руку, а затем поднесла ее к глазам, спросив нерешительно:

— Это ты, Ерик?..

Дёгтев остановился, не удивляясь ее ошибке; знал, как слепа старуха и как она ждет кого-то из Красноярска. Поэтому он молча подвинулся ближе к ограде, давая ей возможность разглядеть его, но та настойчиво повторила свой вопрос. Тогда лесничий предположил, что опять, наверное, Юрка наплел ей какой-нибудь вздор. Однако, представив свой затрапезный вид — всклокоченную голову, небритое, худое лицо без привычных очков, набухшие сыростью замшелые сапоги, Дёгтев подумал: может быть, и правда похож на геолога Ерика.

Антоновна незряче, на ощупь открыла калитку, и Дёгтев понял: с глазами у старухи совсем плохо. Она пожевала проваленным ртом, нетвердо проговорила:

— Измытарилась вся. Вроде как куриная слепота навалилась. И дома никого нет. Еще вчера все уехали в город за покупками...

Затем коротко, озабоченно подавила вздох и снова заговорила:

— Вот беда-то. Гляжу и думаю: может, Ерик, а может, нет. Не больно ты на нашу родню-то смахиваешь. Я жду, каждый день жду своих с красноярских краев. Годов уж десять никого не видела.

Говорила так, а сама смотрела в сторону.

Дёгтев хотел успокоить Антоновну: дескать, куриная слепота — хворь временная, не сегодня-завтра пройдет, но все же лучше, конечно, врачу показаться. Но, уловив, что не это сейчас главное для старой женщины, а совсем другое, хрипло, застуженным голосом произнес:

— Ерик, бабушка, я, Ерик.

Просунулся решительно в калитку, обнял ее за плечи (так, наверное, сделал бы внук) и, улыбаясь, заговорил о внезапности своего приезда. Похвалил бабушкину память — столько лет прошло, а помнит, старая, помнит.

— Ты о походах-то своих, о походах расскажи, — просила уже в тепляке Антоновна.

И Дёгтев рассказывал о походах. Тут у него не было спасения, что он может дать промашку, сказать невпопад. Уж чего-то, а побродил он по белу свету достаточно...

Из тепляка Дёгтев выскочил взмокший, замученный враньем. В квартиру свою не стал заходить: боялся — совсем плоха старуха глазами, но вдруг поймет все. Горбясь, пошел к лесу, чтобы, пройдя опушкой, подойти незаметно к поселку с другой стороны. У Громотухи обернулся и похвалил себя: нагруженные сетками и вместительными сумками, шли со станции Тихомировы.

Так и пришел лесничий в контору: небритый, в раскисших сапогах, с запахом мокрой одежды. В кабинете он раскрыл запечатанную форточку. Вглядываясь сквозь сеть березовых ветвей, густо нависших над окнами, в зыбкий ненастный день, он думал: много ли надо для меркнувшей жизни старой женщины? Совсем мало. Знать, что помнят о ней, а уж она-то, движимая любовью к близким, помнит о них. Так от чего же для тех, с кем она живет, это ее беспокойство

о родных вызывало недоумение и даже злобу, словно и правда старуха сходила с ума?..

По дороге домой Дёгтева охватило смутное, беспричинное беспокойство. Ему казалось: что-то должно случиться, произойдет очень скоро. Возможно, сегодня, может быть, с минуты на минуту.

...Фургон, который недавно прогремел по улице, приткнулся к соседской половине дома. Возле машины стояли трое: пожилая женщина с хмурым, усталым лицом и двое парней, явно смущенных, прячущих руки за спины. Эта группа поразила и встревожила Дёгтева.

Со стороны тепляка, подбирая ноги в мелком неуверенном шаге, шла, поддерживаемая Иваном Кирилловичем и Нюрой, Антоновна. Распознав впереди машину, она остановилась, спросила что-то у дочери. Та, страдальчески поморщившись, молча отвернулась. Зато Иван Кириллович громко, чтобы слышали врачаха и двое парней, с раздражением произнес:

— Ерик... Ерик! Полдня твердит как заводная, доктор. Будто внук ее рядом. А ведь он в Красноярске... Слышишь? — вдруг закричал он зло в лицо старухе. — Нет его здесь. В Красноярске!..

Молодой лесок, сбегая со склона, почти вплотную примыкает к широкому, сложенному из тяжелых лиственничных плах, дому. В той половине, где живут Иван Кириллович с Нюрой, будто вымерло.

У Юрки начались занятия. В Иркутск он уехал присмиривший и тихий. Когда увозили Антоновну, он прятался в сарае и плакал.

А в редком сосняке бегали пацаны, вооруженные рогатками и поджигами. Стреляли в белок, рябчиков, звали иногда бабушку Антоновну, чтобы ее попугать и самим напугаться. Но старой Антоновны не видно. И где она находится, про это знать необязательно...



## БЕГ В СТЕПИ

Лицо фотографа из области напоминало иссеченную вдоль и поперек трещинами землю — так глубоко вспахали его морщины. Извивы жидких волос выбивались из-под шапки и чернели на впалых щеках. Росту он был высокого, на слова скуп, в движениях не то вял, не то сдержан.

Фотограф был озабочен заказом: по поручению издательства готовил альбом.

— Знаете... — говорил фотограф, делая большие, должно быть для солидности, паузы. — Мне бы что-нибудь такое... — прищелкивал он в воздухе хваткими, костистыми пальцами, — экзотическое...

И зоотехник Ваганов, которого почти силком заставили в сельхозуправлении — по просьбе районного отдела культуры — взять фотографа, обреченно вздохнул, досадливо поморщился: своих забот по горло, а тут еще командированный, забодай его комар. Но все же повернулся к шоферу и сказал:

— Рули к дацану<sup>1</sup>.

— К дацану так к дацану. Мне все равно, ёхоморова жизнь!

У шофера была фамилия Курзин. Но все его, как сговорившись, звали Ёхомор. На то была своя причина. Если Курзин, допустим, встречал красивую девушку, то он долго провожал ее масляными глазами и неизменно добавлял: «Ёхоморова деваха...» Присмотрев в магазине приглянувшуюся ему рубашку, костюм или туфли, он с нескрываемым удовольствием произносил: «Ёхоморова вещичка...»

Скоро Ёхомор подъехал к дацану. Крыша храма, вагнутая по краям, сверкала золотой фольгой. Маленькие окна не смотрели на мир, а словно подглядывали изнутри.

---

<sup>1</sup> Д а ц а н — ламаистский храм, монастырь.

Они вошли в крохотную молельню, и Ваганов попросил сидящих монахов проводить их в храм. Ламы в остроконечных желтых шапках и засаленных халатах стали угрюмо препираться — лень было по морозу пройти сто шагов. Наконец один встал и сделал приглашающий знак рукой.

Фотограф, подходя к храму, направо и налево защелкал фотоаппаратом. Но когда они ступили внутрь дацана, Ваганов шепнул, что снимать здесь нельзя.

Ламы, расположившись на тюфяках, обшивали халаты старомонгольскими письменами. У самых дверей бритоголовый монах кормил девушку-паломницу из большого медного таза. Ее иссиня-черные волосы густым потоком устремлялись к поясу. Она без лишних раздумий запускала руку в глубь таза и, когда, пошарив на дне, поднимала ее над краем темной меди, в смуглом ее кулачке оказывались конфеты и печенье.

— Возьми, — сказала неожиданно девушка, откинув иссиня-черную роскошь со лба, — я не жадная. — И, мельком пробежав глазами по лицу Ваганова, протянула ему доверчиво, в открытой ладони, конфеты.

Ваганов вздрогнул, пораженный безумным блеском азиатских глаз. Он все же взял несколько конфет, — кажется, это была фруктовая карамель.

— Он взял, — озарилась счастливой улыбкой девушка. — Ты приходи сюда почаще, — говорила она, крепко ухватив Ваганова за рукав полушубка, — и мы вместе достигнем просветления. Мы не умрем, а будем каждый раз перерождаться...

Так же неожиданно она умолкла, отпустила его рукав. Лицо ее стало сумрачным, и только свет душевной болезни продолжал гореть в продолговатых глазах.

За монастырской оградой фотограф, кивнув в сторону дацана, задумчиво произнес:

— Средневековье какое-то. Будто все это понарошку. Похоже все на бутафорию, искусно сыгранный спектакль.

Ваганов промолчал, соглашаясь с ним. Причудливая неподвижность времени, воплощенная в дацане, вызывала в нем протест. Он всегда ощущал жизнь как постоянное движение. Как бег с реальными препятствиями. Только это движение истинно, считал Ваганов. Неподвижность может быть любопытной, но никогда — истинной...

Ёхомор был уже в машине и прогревал мотор на малых оборотах.

— А теперь куда? — спросил он, потянувшись на сиденье до хруста в костях.

— К стоянке Гончикова, — отозвался Ваганов, рассчитывая засветло попасть к чабану.

Сейчас он думал успокоенно, что просьбу отдела культуры выполнил: показал фотографу бурятский дацан. Но все же придется везти фотографа с собой, так как до райцентра от дацана с полсотни километров. А возвращаться — времени нет...

Степь хрустела под колесами твердым настом и стылым, ломким ковылем. Ветру тут раздолье. И потому он шарахается неприкаянно, шлифуя до глянца упавшие еще в октябре снега. Иногда ветер начинал злобствовать. Он закручивался вокруг окатистой сопки и поднимал смерч. И тогда снежное сверло буравило упорно и долго мглистое, раскаленное морозом небо. Но ветру не хватало мощи, напора, чтобы пробиться в сизую высь. Смерч не выдерживал, ломался где-нибудь посередине, опадая вместе с белой пылью, и солнце подкрашивало в слабый алый цвет снежную пудру.

Белые зыбкие барханы уходили вширь и вглубь, насколько хватал глаз. Сейчас открытое однообразие местности раздражало Ваганова. Создавалось обманчивое впечатление, что если перед ними не весь мир,

то огромная его часть. Но Ваганов утешался мыслью, что через несколько часов горизонт обозначится острыми зубцами гор. Эти горы покрыты тайгой. К их подножию притиснулась чабанская стоянка Гончикова.

Холодная струя воздуха проникала через узкую, шириной с лезвие ножа, щель в двери, упруго билась о резиновый коврик и, рассеявшись понизу, коварно просачивалась в собачьи унты. Фотограф стал притопывать ногами поначалу медленно, затем чаще, худые колени его подпрыгивали высоко, задираясь до острого подбородка.

Ветер между тем наливался силой, черпая свежие притоки с Даурского хребта, и, судя по всему, обещал превратиться в ураган. Ёхомор повел машину насрез этому хребту, и солнце лениво переместилось по правую руку, зависло сбоку и уже не так назойливо лезло в глаза.

Они катились так вот уже несколько часов кряду. Сопки стали увеличиваться в размерах, расти на глазах, и Ёхомор порой врубал передний мост, чтобы осилить наползающие один на другой бугристые холмы. Он откровенно скучал за рулем и, чтобы взбодриться, завел разговор.

Ваганов посматривал на Курзина, улыбался втайне, но в разговор не встречал: был малословен. И даже когда в пути вдвоем находились, то и в этом случае все отмалчивался.

...После окончания института Ваганова направили в дальний район. И Ёхомор, который в то время кантовался в городе, как только об этом узнал, так сразу же на правах старого знакомого туда и подался. С Вагановым много лет тому назад он учился в школе. Но потом, покинув школу, ушел в профтехучилище. А вот на службу уходили в одно время — весной. Встретились уже после армии — в небольшом городке, в энергоучастке. Ваганов пришел сюда устраивать-

ся на работу. Ему нужны были деньги для поездки в областной центр, где он собирался поступить в сельскохозяйственный институт. В энергоучастке отобрали бригаду из шести человек. Ёхомору выделили гусеничный трактор — у него имелись права — и отправили их в сторону Яблонового хребта крушить лес, корчевать пни, пробивать просеку под высоковольтную линию...

Ваганов отошел от воспоминаний, разорвал цепь прошлых дней. Лесистые горы, манящие к себе дикой молчаливой печалью, подвинулись ближе, но до них было еще далеко. Пик одной особенно высокой горы пронзил багровое солнце, развалив его надвое. Из окна машины виднелось пылающее красно-синее небо. Ваганову показалось, что он видел уже где-то подобное — вот эти хребты, которые вздыбились впереди и не пустили, не дозволили проникнуть степи дальше, и эту высь небесную, замешанную на крутых и сильных красках. Но вот где, где?..

Оживился, полез за своим аппаратом фотограф.

— Я где-то уже видел подобное, — повторил он вслух мысли Ваганова. — На какой-то репродукции или картине.

И Ваганов вспомнил:

— Возможно, у Рериха.

— Пожалуй, — согласился фотограф.

Они подъезжали к чабанской стоянке Гончикова. Фотограф, завидев юрту и кошару, радостно заерзал, стал разминать затекшие от долгого сидения ноги.

Навстречу вышел хозяин, молодой щекастый бурят с узкими щелками глаз, улыбчивый, гостеприимный. В юрте резко шибало неистребимым духом гнилой овчины. Плотно утрамбованный ногами пол был

тверже асфальта. Хозяин загоношился, но не мелко, не суетно, как это делают порой некоторые люди, когда к ним неожиданно-негаданно нагрянет начальство, а стал сноровисто орудовать возле домашнего очага, разводить под ведерным закопченным котлом огонь.

Потом все сели за стол. Фотограф достал папиросы, закурил, но его тут же забил, затряс лихоманом неотвязчивый кашель.

— Это все табак проклятый, — захрипел он горлом, рукою разгоняя дым над столом. — Совсем угробил легкие.

Гончиков встал, порылся в сундуке, выдернул оттуда толстый пузырек, наполненный желтоватой жидкостью.

— Возьми, — сказал он, протягивая фотографу сосуд, — это тарбаганий жир. Попьешь, может, и лучше станет...

Фотограф, обалдевший от жирной обильной еды, не на шутку растрогался, полез брататься к хозяину и сказал, чтобы тот приезжал к нему в гости в город.

Они посидели еще какое-то время, пока Ваганов не позвал Гончикова осматривать катон — стойбище животных. Чабан оградил его завезенным сюда тальником и обвалил соломой. Внутри его сгрудились бараны. Они тепло дышали, и пар их дыхания оседал белым куржаком на соломе.

Ваганову Гончиков нравился. Ценил он в нем жилку рачительного, порой даже излишне зажимистого хозяина. Кончается зимовка, смотришь, а у него еще кое-что про запас остается. Иные чабаны, напомни им только о кормах, на горло наступают: давай то, давай это. А где взять, когда еще по осени корма распределялись строго по стоянкам.

— Ваганов! — окликнул его, выйдя из юрты, Ёхмор. — Мы тут кругом с фотографом проедем, поснимаем. Не возражаешь?

— Валяйте, — отмахнулся он.

Зоотехник понял, что они хотят сгонять до хребта: до него всего ничего, километра четыре будет.

Сумерки сгущались быстро. В небе уже дрожали, позванивали обвеянные морозным воздухом крупные звезды. Месяц показался из-за хребта лишь одним рогом, и этот сверкающий осколок холодно венчал горы. Совсем рядом шумел мотор машины, луч ее фары беспокойно сновал по степи, упорно рыскал по скатистым холмам. Вот он нырнул вниз, в ложбину, выполз оттуда, и на конце луча запрыгало, затрепетало темное пятно. Выстрел расколол плотную стену морозного вечера, хрустнул по ушам, дробь подняла снежные бурунчики справа от пятна.

— Это корсак, — сказал, всмотревшись, Гончиков, и в голосе его слышалось сочувствие к зверьку. — Настигнут сейчас. В снегу корсак беспомощен. У него короткие лапы, и он не может быстро бегать.

Луч фары полосовал степь, пронзал темноту. Снова грянул выстрел, и корсак, подстегнутый им, выбрался на твердый наст, стал понемногу отрываться от машины. Ваганов не желал смерти, поэтому он обрадовался, увидев, что преследование вряд ли обернется удачей. Но вскоре ворвались в уши — один за другим — еще два выстрела. Зверек прыгнул в сторону и угодил в «окно» глубокого снега. Машина подобралась ближе.

— Они играют с ним, — с глухим раздражением произнес Гончиков и ушел в юрту...

Закрутившись волчком в свете фар, зверек обреченно вскрикнул. Ваганов почти физически ощутил, насколько этот вскрик был переполнен болью и ужасом. Так кричит смертельно испуганный ребенок. И так кричал с мучительной пронзительностью в безрадостной степи маленький, размером с комнатную собаку, зверек.

Ваганов посмотрел на юрту и сквозь черный провал открытого полога почувствовал на себе презри-

тельный взгляд Гончикова. Он слова бы не проронил, если бы Ёхомор завершил все одним выстрелом. Но весь этот гон был нечестным. И потому так враждебен сейчас был Гончиков к Ёхомору, к заезжему фотографу и даже к нему, Ваганову...

Густой холодный воздух, обжигая горло, рванулся в легкие, и Ваганов побежал на луч фары. Он сбросил на ходу полушубок, шарф, шапку и теперь словно молил небо, чтобы игра, затеянная Ёхомором и фотографом, не надоела им хоть бы еще пяток минут. Этого времени ему хватит добежать до автомобиля...

Звук выстрела докатился до хребта, отроги гор огрызнулись раскатистым эхом. И корсак запрыгал на трех лапах, прижимая четвертую к животу. Он заметно сдал. Розовый узкий язык по-собачьи вывалился из пасти, свешиваясь почти до земли. Автомобиль, жарко дыша загнанным мотором, двигался рывками к своей жертве.

«Держись! — упрашивал корсака Ваганов. — Скачок вправо... — советовал он ему, — еще один... Вот так. Молодец!» — мысленно одобрял он зверька.

Но луч, скользнув туда-сюда, отыскивал корсака и снова гнал его по отлогому склону. Зверек искал хоть какую-нибудь лазейку или норку, но степь лишь расставила на его пути глубокие снежные провалы. И, угодив в один из них, корсак поднял вверх острую лисью мордочку, хрипло и обиженно залаял. Ребристое колесо машины, с хрустом вспарывая твердый наст, накатывалось на зверька.

Ваганов метнулся в свет, в этот толстый сноп яркого света, и, подсунув ногу под мягкий живот, швырнул корсака вверх. Он не видел, как пушистый комок взлетел на воздух, тут же упав на брезентовый верх машины. Призрачно мелькнуло в затуманенном окне искаженное испугом лицо Ёхомора, не успевшего ударить по тормозам, и Ваганов почувствовал, как желе-



зо крошит, дробит его кости, рвет мышцы и сухожилия...

Он упал под колеса, а с хребта поспешно спустился старик-отшельник.

— Тебе больно? — спросил участливо старик.

— Очень, — пожаловался Ваганов.

— На солнечной стороне горы, — сказал старый бурят, — я насобирал для твоих ран целебные травы. Я выхожу тебя.

Голос старика слабел, его относил в сторону порывистый ветер, и Ваганов, на секунду очнувшись, подумал, какими страшными муками завершился для него этот бег в степи...

## СОДЕРЖАНИЕ

На озере Леприндо . . . . .	3
Попутчица . . . . .	30
У матери . . . . .	38
Антоновна . . . . .	45
Бег в степи . . . . .	55

---

**Георгий Викторович КОПЫТИН**

### НА ОЗЕРЕ ЛЕПРИНДО

Ответственный за выпуск **С. Лыкошин**  
Редактор **А. Корнеев**  
Художественный редактор **В. Недогонов**  
Технический редактор **Н. Александрова**  
Корректор **Т. Песнова**

Сдано в набор 22.09.81. Подписано в печать 05.12.81. А09881. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 2,8. Уч.-изд. л. 2,8. Тираж 75 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 1525.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.

Адрес редакции: 125015, Москва, А-15, Новодмитровская, 5а.

Отпечатано в типографии ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес типографии: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42, зак. 2884.



20 коп.



Молодая гвардия